ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



5 (252) МАЙ 1976

Журнал
основан
в
1955
году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА



Александр
ЯШИН

ВОЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

ПОЭМА

Поэма «Военный человек» была начата 21 января и закончена 21 марта 1942 года. Написана была быстро. В замороженном и наполовину вымершем Ленинграде, под бомбами и обстрелом, в госпитале, тяжелобольной, поэт писал в то время, когда не то что вести каждый день дневник и писать («надо дать 10 строк в день!»), а заставить себя утром подняться и жить — было подвигом.

Александр Яшин ушел на фронт добровольцем. В дневнике его есть запись: «Решил быть на войне, все видеть, во всем участвовать». Уже 14 августа 1941 года он записал: «Впервые в жизни побывал в бою. Собой доволен. Держался хорошо». Дневниковая хроника войны, иногда очень скупые записи, ясные лишь для самого Яшина, дополняются, поэтически раскрываются в двух недавно найденных поэмах — «Военный человек» и «Ленинградской поэме».

Первые месяцы войны (до 1942 года) Яшин был под Ленинградом в частях морской пехоты, на фортах — на пятачке побережья, отрезанном от Большой земли и от Ленинграда. Он не раз бывал в боях, был фронтовым редактором и корреспондентом, воевал на бронепоездах, ходил в разведку, был политработником. Пережил отступление, потерял друзей, особенно горевал о гибели друга, фронтового корреспондента Звонкова. Его именем назван главный герой поэмы «Военный человек», хотя написана она о себе самом. Поэма писалась как поэтическая автобиография, как поэтический дневник первых дней войны. Она так и осталась черновой тетрадью и ни разу не перепечатывалась на машинке. Задумана поэма была из двух частей: «Стоять насмерть» и «Вперед на запад». Вторая часть не написана.

Конечно, по поэтическому мастерству, духовной и философской глубине, по образности языка эта поэма уступает поэзии позднего Яшина и не может быть приравнена к ней. Но ценность поэмы «Военный человек» в том, что это летопись военного времени, что это зарисовки участника войны, молодого Яшина, и что увидено это художником Яшиным и никем другим (например, отрывок о том, как умирал лось). А самое ценное в этой поэме — это восторженный и честный, мужественный и смелый характер главного героя. И этот характер помог поэту жить и умереть достойно, помог создать ту яшинскую прозу и поэзию, которыми он закончил свой путь на земле.

З. ЯШИНА

✪

Горели станции и села,
Торфяники, поля, песок,
Горели заросли осок,
И чад войны, густой, тяжелый,
Все продвигался на восток.

Кружили птицы:
Скрыться где бы!
В огне и тучи и леса...
Летит зола на землю с неба!
Или с земли на небеса!

Весь день, всю ночь душа
на взводе.
Глядишь вокруг — глаза болят.
Не разберет усталый взгляд:
Где дом горит,
Где солнце всходит,
Где пламя битвы,
Где закат.

В колючей проволоке
Звери
Кровавый оставляли след —
Пугал их каждой вспышки свет.
Киты шарахались на берег
От взрывов мин
И от торпед.

От Заполярья, громыхая,
До черноморских светлых скал,
Калеча, грабя, убивая,
Свирепый ворог наступал.

Страшней чумы, страшней
проказы
Железный грохот сапога.
Но мы не клали ружей наземь —
Мы ополчились на врага.

На суше, в небе, в море — были,
Топили, рвали на куски...
Мы отступали,
Но штыки
Обращены на запад были.

✪

По пожням примятым,
По листьям, по мяте,
По травам богатым,
Где пчелы, где мед,
По тропке покатой,
По роще на скате
Идет паренек в краснофлотском бушлате,
По мхам, по осокам усатым идет.

За рощей, за гривой березовой — взрывы,
Огня и свинца навесная стена,
А здесь воробьи,
И подходы к заливу,
И просинь меж сосен,
И небо на диво,
Плакучие ивы и свет.
Тишина.

Идет краснофлотец,
Шаги его броски,
И шлем набекрень.
Из-под шлема летят,
Как вымпелы, ленты фуражки матросской,
И буквы, как блестки.
В зубах папироска,
Концы плащ-палатки
свисают до пят.

По четкому шагу,
По резкой поглядке
За волка морского он мог бы сойти,
Но в выправке этой,
Но в этой повадке
Сквозят безмятежного детства пути.

На поясе нож и четыре гранаты,
На пятой гранате — рука паренька,
Торчит за спиной его
Ствол автомата.
А кажется парню, что все маловато —
Еще не хватает штыка-тесака.

Еще не хватает планшетки и карты,
Да фляги, да ленты патронов на грудь...
Что рыцари в латах!
Что воины Спарты,
Гольцы, копьеносцы
какие-нибудь!..

На брюках окопная грязь и солома.
Как жаль, что родные не видят его!

Таким хоть на миг показаться бы дома...
Но речка и здесь —
Словно с детства знакома,
И тот же малинник в местах бурелома
Шумят и глядят на него одного.

К цветку, к лепесткам наклонился махровым,
Взошел на брусничный сухой косогор,
Спросил трясогузку: «Как живы-здоровы!»,
Синицу: «Что нового в дебрях сосновых!»
Со всеми хотелось вести разговор.

Не знал он, что был и смешон и забавен.
Впервые сегодня огнем окрещен,
Он смело приблизился к вражьей заставе.
Он вправе был думать о чести, о славе.
И так ему было теперь хорошо!

✪

Не позабыть мне первых схваток,
Рывков вперед,
Дорог в крови,
Ночей под кровом плащ-палаток,
Как первой не забыть любви.

Все шло не так,
как представлялось.
Как прочиталось,—
Все не так.
Все было ново: дождь, усталость.
Разрывы мин и рев атак.

Бывало, страх меня тревожил:
Как поведу себя в бою —
Не буду ль слишком осторожен!
Впаду в тоску
Иль устою!

И убедившись, встав под дула,
Хлебнув и гула и огня,
Что сердце не захолонуло,
Кровь не свернулась у меня,

Что я ничем других не хуже
Переношу тяжелый путь, —
Я затянул ремень потуже
И широко расправил грудь.

Такая гордость обуяла,
Так показалось просто жить:
Прошел огнем, под свист металла,—
И все должны тебя любить.

В глазах, в словах — одна победа.
Мечты, мечты наедине...

Кто эти чувства не изведал,
Тот просто не был на войне.

Таким же, верно, чувством движим,
Таким же светом освещен,
По теплым травам, кочкам рыжим,
Среди листвы, как средь знамен,
По мхам шагал Звонков Семен.

Все шумы леса были в уши,
Свистели иволги, дрозды,
Он сердцем хвойный шорох слушал.
Но слышал он, — моряк на суше —
Во всем соленый шум воды.

✪

Мы знали все, что час настанет,
Война шагнет на наш порог,
Что срок сражений недалек,
Что хищный враг не перестанет
До смерти рваться на восток...

Семен Звонков возился дома
С какой-то кучей мелких дел,
Писал,
Писал и песню пел...
Услышав в полдень речь наркома,
Он в первый миг похолодел.

Потом сложил в портфель тетради,
Страницу в книге дочитал,
Сказал:
— Ну что ж... Ну что ж!.. —
И встал.
Всю комнату окинул взглядом,
Как будто тотчас уезжал.

К утру жена вернулась с дачи,
Ее приезду был он рад,
Хоть с нею жил давно не в лад.
На все он стал смотреть иначе,
Чем день иль два тому назад.

Сходил на митинг.
Было странно,
Что на постройках там и тут
Вдруг замерли, застыли краны,
Не кипятят асфальта в чанах,
Что стены зданий не растут.

А возбужденье нарастало.
Жену обняв, сказал:
— Ну вот
И для меня настал черед.
Посмотрим, твердого ль закала
Живет во мне звонковский род.

Сказал, что человек вполне
Взрослеет только на войне.

Шесть дней Семен Звонков томился,
Повестки ждал шесть дней подряд,

Шесть раз с детьми, с женой
простился
И, не дождавшнсь, сам явнпся
Поутру я райяоенкомат...

✪

Звонкова брат спужип яо фпоте.
И, попроснвшись в морякн,
Семеи не знал, с чего охотнп
На кораблн, а ие в пехоту,
На острова, на островкн...

Бушпат, шннепь его ппеиялн
Не меньше, чем другнх моря
У старых боцманов едва ли
Так строчкн пуговиц сняпи,
Так полыхапи якоря.

Ои так ходнп я своей шннелн,
Так шнроко шагап,
Легко,
Что попы по яетру петепн
И пыпь крутилась вихорком.

Но спаву Балтнкн суроя ой
Ои скоро всей душой постнг.
К волне соленой,
Тьме бездонной
Ои относнпся, как впюбленный,
Как к людям, в бнтве
закалеиным,
Как к боеяым, пнхим зиаменам,
Как к непрочтенной попке книг.

Деиь первой битвы мчался мимо,
Как лервый день землн, как сон...
Уже о нем жапел Семен:
Все ново, все иеповторимо!..

Итак, средь сосен н покоя,
Средн брусннчника н трав
Шагал ои в попдеиь лосле боя
И любовался сам собою,
Крещеиье первое прнняв.

✪

Под корнямн старой епн
В иаслех вырытой дыре
Дяа товарища снделн,
Уместнвшись еле-еле,
Как наганы в кобуре.

Рассказал бойцу Семеи,
Как ходнп в атаку он,
Как трасснрующей смертью
Бып нзрезан небоскпон.

— Немец вышеп из-за песу
Без орудий, без огня
И, пригнувшись,
Мелкнм бесом
Наступает на меия.

Лезет в драку и бонтся,
Чтобы гром ие разразнл.
Рожь крошится,
Дым клубится.
Грузовик лежнт я грязн.

Я лрнник за пием сосноявым,
Я стреляп, а не бежап!

Я бы мог сразнть пюбого —
Одного,
Потом другого.
Я на яыбор выбнвап!!!

И прнятель ясе до слова,
Даже больше поннмал.

У него табак я кнсете —
Развернет: «Прошу курить!»
У него в деревие детн,
Тоже дом, н все на свете.
Есть о чем погояорнть.

Порешнпи побрататься,
По тропе ходнть прямой,
Всю яойну не расстаяаться,
До Германнн добраться,
Вместе яыехать домой.
Подружнпнсь.
Порешнлн
Так до старости дружнть.

Друга я ту же ночь убнпн.
А Звонков остапся жнть.

✪

Лось вышеп на дорогу.
Никогда
Он не быяап еще на поле боя...
Все было нздавна сяое, родиое:
Кочкастый мох,
чернннчннк н яода.
А не бып о ему нигде покоя.

Недоумению погпядев яокруг,
Он лрнподнял копыто н послушал.
Прнслушался, перестулнп...
И вдруг
Волной по телу пробежал нспуг,
И пось прижап растрелайные ушн.

Как будто сосны падалн в бору,
Помалнсь с треском жидкие
верхушки,
Рвапнсь снаряды, надрывались
пушки,
Вился воронкой яетер на юру,
Шеп бурелом по пиствеиной
опушке...

Вдруг вражнй хохот раздапся в
кустах,
И пось метиупся, яростный
н дикий, —
Ему знакомы былн
рысьн вскрики,
Вгоняющие все живое в страх.
Метнупся лось ло зарослям
черникн
И, словио иалоровшись иа штыкн,
Улап с размаху,
выдыхая воздух, —
Колючей проволокн завиткн
Ему содралн кожу со щекн
И разорвапи розовые ноздри.

Спнрапь в шнлах,
как будто на суку,
Повисла на широкой ветке рога.
С иогамн спутаниыми, он с отрога
Скопьзиул по мху и камиям
иа боку.

Осатанея,
В себя не прнходя,
Он виовь вскочнл
И, ие считаясь с болью,
Шагиуп яперед к зелеиому
залолью...
Но провопока, путь загородя,
Ощернвшнсь, вся в шильях
и гвоздях,
Задергапась яокруг,
как сеть на копьях.

Звонкоя все яндеп.
Сердце облилось
Горячей кровью.
С горечью душевной
Следнл он, как сраженье
началось,
Как бнлся лось,
Как утомнпся пось
И замер, несмнрнвшнйся
и гнеяный.

Как он потом запизывап бока,
И круп, н грудь, окрашеииые
кровью.
Как объявилось в действиях быка
Бесломощное что-то вдруг,
коровье...

✪

Шел дождь, каких бывает мало,
Не дождь — а град ло воробью.
Водой окопы заливало,
От стужи поле зубы сжапо,
И ветер вып: убью, убью!..

К земле припапа, выгнув спину,
Перестоявшаяся рожь.
Ее бы жать, везтн к овину
И молотнть...
Но мины, мины —
Снопа н то не соберешь.

Прикрывшись мятою соломой,
Весь батапьон у рва пежап.
Так птнцы в гнездах средн скап
Скрываются от вьюг н грома.
Бойцы устроилнсь как дома,
Лишь зуб на зуб ие попадап.

Весь штаб залез
под плащ-палатку —
Из-под палатки шел дымок,
По желобку широкой складки
Стекал на землю ручеек.

Одни комбат не укрывался,
Как будто не было дождя,
И шторм во ржи не бесновался,
Согнувшись, он лишь отдувался,
Плечами косо поводя.

Но даже этому детине
Ознобом челюсти свело,
Багров был нос, а губы сини,
Лицо в коричневой щетине
Напряжено, серо и зло.

Еще сидел с комбатом рослым
Один.
Но он невидим был...
Прикрыв ладошкой папиросу,
Он глухо кашлял и курил.

То был любимец батальона,
Всем одинаково знаком,
Отец бойцам еще зеленым,
Брат ветеранам закаленным,
Любцов — поэт и военком.

Когда-то был он принят косо:
Уж больно мал, уж больно тих.
Такой ли нужен для матросов,
Для альбатросов для морских!

Хотелось видеть комиссара
Под стать комбату: бравый вид!
Ведет в штыки — земля гремит,
От комиссарского удара
Чтоб танк и тот — «долой с копыт!»

Но военком дал в первых схватках
Урок наглядный морякам,
Что можно быть наверняка
И класть врага на две лопатки,
Не поднимая кулака.

(Века смешной турнирной брани
Давным-давно прошли — увы!
Не скажет враг: «Иду на вы!»
И в битве руку не протянет,
Не загрустит, когда ты ранен,
Убив, не склонит головы.)

Он не стыдился укрываться,
Маскироваться,
Землю рыть,
Переползать и пригибаться...
Он говорил: «Твой долг — убить,
А самому живым остаться!»

✪

Для тех, кому годами в уши
Хлестал морской соленый вал
(Пусть ты сто раз в боях бывал!),
Не просто вдруг попасть на сушу.

Иная тактика, иные
Ориентиры для стрельбы.
Не сталь, а доты земляные,
Не палуба, а мхи лесные,
Пески, булыжники, столбы.

Привыкнуть трудно и обидно
На брюхе ползать моряку.
Обидно, что врага не видно,
Хотя он где-то здесь — в леску.
И вот они по фронту ходят,
Открыв рисованную грудь
И бескозырку сдвинув,
Вроде
В весенний праздник — на народе,
На хороводе где-нибудь...

Вдали по насыпи, по валу,
По краю глинистого рва
Какой-то молодец удалый
Идет себе —
и горя мало,
Что под свинцом свистит трава,
Что, может быть, с холма крутого
Врагу он виден с головой,
Что не себя лишь одного
Он выдает, а и другого...

И военком через связного
К себе потребовал его.

Пришел солдат,
Уже усатый,
Уже «обветренный моряк».
На нем палатка,
будто латы,
Бинокль и трех систем гранаты,
Запасный диск от автомата,
Плашетка, фляга и тесак.

Скосившись и смеясь невольно
Над незнакомым пареньком,
Сказал балтийцу военком:
— Ты, погляжу, уж грозен больно —
Усы и те стоят торчком.
Где плавал!

— Я еще не плавал.
— Фамилия!
— Звонков Семен.
— Ну, как война!
— Война на славу,
Я словно для нее рожден.

— А ходишь, будто гусь
по грядкам.
Увидит немец — всем труба.
Смени походку и повадку...

— Так я ж испытывал себя!..
Я под свинцовым побыл градом,
Я видел свет ракет в ночи,
Я знаю, как «максим» строчит,
От воя мины свист снаряда
Могу за милю отличить.

Широк в плечах. Здоров.
Спокоен.
В налет,
На вылазку пойду.
Доверьте что-нибудь такое,
Чтоб мог врага я беспокоить
И у своих быть на виду!

Хочу с противником сразиться
На штык, на нож — лицом к лицу,
Как полагается балтийцу,
Как полагается бойцу!
Любцов смотрел в глаза
Звонкову,
На рыжий ус с завитком, —
«Хороший парень, с огоньком!»
— Похвально! Хорошо!..
А к слову,
Женат иль все холостяком!
— Женат, товарищ военком.

Дождь не мельчал.
И за горою,
В деревне, стал стихать пожар.

Стемнело.
— Что ж, ложись со мною,
А завтра приготовься к бою, —
Сказал Звонкову комиссар.

✪

Всю ночь рвались и выли мины,
И треск и стон во ржи стоял.
Бойцы, до боли скрючив спины,
Дрожали, как листы осины, —
Им ветер кости продувал.

Ночь бесконечна, сон короткий.
Не под навесом, не в стогу —
Уткнув в колени подбородки,
Валялись люди, словно лодки
На каменистом берегу.

Всю ночь фашисты психовали,
Не спали все до одного:
Ракеты в небо выпускали,
Вдруг затихали, вдруг стреляли,
Так — ни с того и ни с сего.

Дрожали, словно вор на плахе, —
Ведь рядом были моряки!
И немцев донимали страхи:
Везде мерещились штыки.

Звонков проснулся.
В мутной рани
Не сразу понял — что он! где!
Все плавало в густом тумане —
На суше он иль в океане,
На корабле иль в борозде!

Все было зыбким и далеким...
И показался он себе
На миг
Забытым, одиноким,
Песчинкой, каплею в потоке,
Прозрачной искоркой в трубе...

Уже немного рассветало.
Очнулся военком Любцов —
Его лишь небо прикрывало...
— Ну, как ты спал! — спросил он.
— Мало...
— Озяб!
— Озяб, но я здоров.
— Вот ночь! Таких побольше б
надо! —
И военком привстал с земли,
С его ручьи дождя текли.
— Таким ночам мы будем рады.
Лишь мокли б, гады,
Мерзли б, гады,
И всех богов своих кляли!

Снесем и слякоть, и невзгоды,
И грязь, и град, и гром снесем,
Вброд по болотам переходы,
Года — не дни — любой погоды,
Недоеданье, голод — все,

Чтоб только враг не продвигался,
Чтоб немцу не было тепло,
Чтобы, заснув, он не поднялся,
В лесу ложиться спать боялся,
Боялся заходить в село...

— Поразомнемся что ль,
немного! —
Звонков в ответ вскочил рывком.
Пошли.
Поднявшись на дорогу,
Заметил он, что военком
На левую хромает ногу.

Подумал: «Ранен иль не ранен!
А если ранен — где, когда!..»

Ни высоты, ни расстояний —
Ракета вспыхнула в тумане,
Как одинокая звезда.

Окопы были, как колодцы —
Без срубов,
узкою трубой.
У каждого колодец свой:
По стенке льется,
Сверху льется,
И зыбунится под ногой.

Любцов заглядывал в окопы,
В свободные спускался сам,
Ходил по лужам, по снопам —
Не слишком ли заметны тропы,
Не видно ли чего врагам!

И так с утра и до заката
Звонкова он водил с собой.
Спросил про брата и про свата.
День для Семена был богатым...
А за полночь начался бой.

✪

Отчаянное было дело —
В штыки рванулись моряки,
«Ура» взметнулось, загремело.
Все небо искрилось, горело
И рассыпалось на куски.

Немало всяких карнавалов
Я повидал за жизнь свою —
Нигде так небо не играло,
Нигде так много не бывало
Цветных огней, как в том бою.

Строчили в поле пулеметы,
Стальные плавились стволы,
Но не сдержать морской
пехоты —
Что минометы, доты, дзоты! —
Пошли балтийские орлы.
Пошли.
Шинели нараспашку,
В огне ракет глаза горят,
Просвечивают сквозь тельняшку
Наколотые якоря.

Уже от фланговых ударов
Метнуло вражью свору в пот:
Узнали — матросня идет!
Недаром «черных комиссаров»
Боится гитлеровский сброд.

Не выдержали.
Побежали,
Оставив рвы и блиндажи,
Противогазы побросали,
Ногами путались во ржи.

Любцов, палатку не снимая,
Раздернув китель на груди,
Хромая, боль превозмогая
И словно выше вырастая,
Бежал с наганом впереди.

Четыре пункта населенных
За эту ночь оставил враг.
Таких лихих, ожесточенных
Еще не знал он контратак.

Поутру, с солнечным восходом,
С просветом в соснах, в облаках,
Бойцы увидели подходы
К заливу, к милым синим водам,
И кровь на лицах и руках.

Так много вдруг открылось
взглядам
Простора, солнца, тишины,
Так был игрив разлет волны
И берегов тепла громада,
Что показалось вдруг: видны
Вдали ограды Ленинграда.

✪

По тралу перешли траншею.
И вот к Звонкову у крыльца
Старушка бросилась на шею,
Не отирая слез с лица.

Шесть изб в селе еще горело,
Сады желтели от огня,
А небо сжалось, побурело.
На улице девичье тело —
Средь головней как головня.

Стоял колодцем захламленным
Совета взорванного сруб.
Клубился дым, но не из труб.
Пугал стеною оголенной
Разрушенный колхозный клуб.

Давно ль на окнах занавески
Веселый ветер развевал!
Давно ль в луга за перелеском
Пастух в рожок стада сзывал!

Давно ль по берегу залива
Смолили сети рыбаки,
Волны растрепанная грива
Приподнимала поплавки!
И серебристая салака
Входила в бухту косяком,
Взлетали селезни, закрякав,
Лоси паслись за бугорком.

И столько было ягод, ягод —
Носить их, не перекосить.
И никаких, казалось, тягот
Нам не придется выносить.

Все было дорого и свято,
Огнем любви освящено...
И вот все втоптано, примято,
Разорено и сожжено.

В заливе — мины,
В поле — мины,
И проволока на пути —
Ни зверю логова покинуть,
Ни рыбе по морю пройти.

Смотри, мой друг, и стисни зубы.
Багров и узок свет зари...
Смотри, и пусть бледнеют губы.
Ты будешь мстителем, смотри!

✪

Еще никогда по нашим дорогам
Не шел супостат, не согнув
спины,
Ни разу у тесаного порога
Разбойники не были почтены.

Ни званым обедом,
ни хлебом-солью
И ни горшком с парным
молоком —
У каждой росстани, в лесу, в
заполье
Встречали мы их огнем и
штыком.

Цветы оборачивались крапивой,
Потопом — июльский ливень-гроза,
Болото — трясиной,
Ручей — заливом,
Роса выедала врагу глаза.

Глаза забивал полевой лесок,
Озера секли клинками осок,
За каждым стволом стоял
партизан —
Летели камни врагу в глаза.

Не выносили ключей на подносе
От горниц, амбаров и погребов,
Встречала пришельцев сырая
осень,
Морозы и снег — занос на
заносе,
Морозы — и тысячи тысяч
гробов.

Но больше всего не выносит враг
Морских бригад и морских атак.
Русский мороз и русский
матрос —
Страшней для захватчиков
нет угроз.

Январь — март 1942.

Публикация З. К. ЯШИНОЙ
(Печатается с сокращениями.)



Юрий
НАГИБИН

«ВАСЯ, ЧУЕШЬ?..»

РАССКАЗ



«Вася, чуешь?..» — звучит ее голос в больших, чуть оттопыренных Васиных ушах, словно она рядом и только сейчас произнесла эти простые, а не понять что означающие, волнующие и, как солдатская клятва, твердо отдающиеся в его сердце слова, которые она часто бросает ему на прощание.

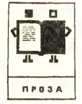
Ах, как он чует, как сильно, остро, мучительно, тревожно и нежно чует Вася, но что? — этому нет названия. А прекрасный ломкий голос звучит в его ушах, хоть он успел проложить между собой и ею километров сто дороги. Если приличествует благородное слово «дорога» тому глинистому, зыбкому, топкому, гнусному месиву, кое-как скрепленному где щебнем, где бревнами, где песком и гравием, что натужно засасывается под колеса его «газика»-вездехода. Да и какие дороги по вечной мерзлоте? Была одна-единственная на Якутск, да строители быстро разбили ее самосвалами и тягачами. Тайга стоит тут на болотах — хлипкие, тонкоствольные ели, лиственницы, сосенки чахнут в ржавой мокряди, которую не выпарить и самому жаркому солнцу. Здесь всегда мокро и сыро, лишь в трескучие морозы затягиваются вечно источающие влагу поры земли, подсушивается воздух, и прекрасные дороги-зимники стягивают расползшиеся по громадному пространству человечьи становища. Но до морозов дожить надо, сейчас конец августа, и, хотя на рани все круто присолено утренником, днем можно без рубашки ходить, и дороги киснут, растекаются.

— Чую! — тихонько сказал Вася и опасливо покосился на сидящего сзади киномеханика.

Тот крепко спал, задавленный обрушившимися на него круглыми металлическими коробками с фильмом. У этого парня была замечательная способность мгновенно засыпать в машине на самых скверных дорогах, в самых неудобных позах, в тесноте и обиде, и не просыпаться до прибытия на место. Ухабы, ямы, провалившиеся мосты, лужи под стать озерам, быстрые, бурливые, неглубокие реки, заливавшие не только мотор, но и нутро машины, не могли заставить его открыть глаза. Казалось, он и явился в этот мир лишь ради того, чтобы отоспаться. Видимо, еще в предбытии душа его успела так устать, что сейчас жаждала одного — покоя. Он спал и во время демонстрации фильма, просыпаясь только для смены роликов.

Вася все это знал, но знал также, что жизнь любит подшутить над людьми и вечно спящий киномеханик проснется как раз в то самое мгновение, когда ему, Васе, вздумается заговорить вслух. А ответить необходимо, иначе в ушах будет неотвязно звучать: «Вася, чуешь?..» С некоторых пор видения нередко смущали уравновешенный Васин ум, а для водителя нет ничего хуже, особенно на здешних распроклятых дорогах.

У Васи не было ни одного прокола в правах, но за последний месяц только мощные, отлично отрегулированные тормоза дважды спасали его от верного наезда. На волосок от аварии вцеплялись колеса в землю, и Вася делал вид перед самим собой и перед пассажирами, что все в порядке, таков, мол, его лихой шоферский почерк. Но Вася вовсе не был лихачом даже поначалу, когда ощущение гладкой баранки под ладонями туманит голову и просто нельзя ездить тихо. Нет, он полюбил свою профессию не за безумие скоростей, а за слитность с умным, совершенным механизмом. Баранка делала тихого, смирного парня сильным, решительным, выносливым и гордым. И машина в его руках не знала никаких мучений, у нее было дыха-



Рисунки
Р. ВОЛЬСКОГО.

ние ребенка и стремительность самца-оленя. А тут — видения, и только чудом не расколошматил он передок. Ну, не совсем чудом — спасли его хорошая реакция и надежные тормоза... Все же лучше сказать вслух: «Чую!» — и погасить звуковые галлюцинации, нежели продолжать путь с двойной нагрузкой — против видений он бессилен.

Шоферу нельзя грезить, «уноситься мыслию», он должен жить дорогой и думать только о ней. Самое чудесное, когда едешь, отмечая про себя каждый ее виток, ухаб, лужу и все, что обочь,— черное горелое дерево, осыпанную ягодами черемуху, дятла, задолбившего сдуру в телеграфный столб, пьющую из лужи трясогузку. Все по-своему интересно и, включенное в ощущение дороги, не отвлекает тебя от дела, не уносит прочь, чтобы потом, враз отхлынув, оставить на краю беды: впритык к выскочившему из-за поворота самосвалу или лоб в лоб с тягачом.

Голос, бивший ему в уши, замолк. Но видения, видения!.. Вначале робко, а потом все увереннее, будто укрепляясь в своем праве, замерцало перед ним тонкое, хрупкое, слабое и упрямое, драгоценное лицо Люды и властно легло на окружающее, предлагая через себя зреть все остальное: дорогу, лес, небо, облака. Но что за беда, если мир видится сквозь прозрачный, как кисея, рисунок милого лица, когда дорога так пряма и пустынна?..

Выплыв из глаз и переносья любимого лица, обрисовался мост с вывернутыми деревянными быками и провалившейся серединой над быстрой, в круговерти воронок рекой. Затем из виска и прядки волос над ухом появился застрявший посреди реки грузовик с прицепом, не нашедший, видимо, броду, и двое мучающихся возле него мокрых парней. А на той стороне, у самой воды, на спуске, стояла колонна желтых немецких грузовиков «Магирусов» и сигналила мощно, слитно, через равные промежутки. Вася выключил мотор и спрыгнул на землю.

Он кинул беглый взгляд на киномеханика — спит, как сурок,— затем на старенькую наручную «Зарю» — в запасе полтора часа — и, оскальзываясь, стал спускаться к реке. Удивляло, что шоферы «Магирусов» предпочитают бессмысленно сигналить, вместо того чтобы помочь пострадавшим и освободить путь. Но, подойдя ближе, он уже не удивлялся этому — из кабины каждого желтого грузовика торчал смуглый локоть, а на волосатом запястье поблескивали японские часы «Сейко». Воображение дорисовало остальное: чеканные лица с баками, косо обрезанными по челюсти, ниточка усов, белая отглаженная рубашка, расклешенные брюки и горные ботинки на толстой подошве. Эти ребята, первоклассные, кстати сказать, шоферы, работали только на «Магирусах», вышибали до шестисот в месяц, никогда никому не помогали и не искали помощи у других, держались в презрительном и гордом отчуждении своим, узким кругом.

Настырно, нагло и так не соответствующе суровой простоте окружающего рушились звуковые залпы усатых пижонов. Вася соскользнул к воде. Шофер и его подручный сразу прекратили свою бессмысленную возню и уставились на Васю с последней надеждой отчаяния. И стало ясно, что они не рассчитывали выбраться сами, не знали, как это делается, а возились у машины от ужаса перед злобными гудками «Магирусов». Поначалу они, конечно, обрадовались подошедшей колонне, весело заорали: «Выручай, братки!» — небось, достаточно наслышаны были о дорожной взаимовыручке — святом законе комсомольской стройки — и потерпели серьезный урон, встретив молчаливый, презрительный отказ. На стволах их юных душ прибавилось по кольцу мудрости, по кольцу печального и необходимого опыта, но выбраться из реки это не помогло. И сейчас они смотрели на худого, долговязого парня в резиновых сапогах и выгоревшем комбинезоне, с маленькой головкой, крытой соломенным бобриком, и тяжело свисающими кистями рук,— они смотрели на него с чувством бо̀льшим, чем надежда, ибо не хотелось им напрочь отказываться от взлелеянных в душе ценностей. Они не ждали от него спасения, но хоть бы нарастить еще одно кольцо на душевный ствол: не все вокруг гады. И они глядели на шофера, широко шагающего с камня на камень через реку, словно верующие на святого, идущего по воде.

Вася сразу понял, что случилось с неопытными юнцами: не поглядели на рубчатые следы шин, уходящие с глинистого берега в воду, и угодили на глубину.

— Эх вы, салажата! — укоризненно сказал Вася, оглядывая увязшие колеса грузовика. «Салажатами» называли на стройке желторотых птенцов, и непонятно было, почему морское слово прижилось в тайге, за тысячи верст от моря.

Салажата были до того угнетены, что никак не откликнулись на обидное прозвище, а может, по неопытности не постигали его уничижительного смысла. Оба лишь шмыгнули носом и утерлись тылом ладоней.

— Понимаешь, кореш,— заговорил один из них нетвердым юношеским баском,—мы уж и вагили, и полтайги под колеса пошвыряли...

— Ладно,— сказал Вася,— раньше надо было глядеть. Не видишь, что ли, колеи левее идут?..

— Да я думал...—смущенно забормотал тот.

— Индюк тоже думал! — оборвал Вася и полез в кабину грузовика.

— Слегу подвесть? — спросил шофер. Чувствовалось, что и в беде ему приятно произносить такие мужественные слова, как «вагить», «слега». Городской, знать, человек, играет в бывалость.

— Иди ты со своей слегой к...! — Строгость, только строгость нужна с молодыми, но Люда запретила Васе материться, и теперь он часто недоговаривал фразу, мучаясь ее оборванностью и бессилием.

Вася сел за руль, сразу обнаружив, что люфт великоват, выжал педаль сцепления—проваливается, завел мотор — троит малость. «Салажата, что с них взять?». И стал на слабом газку потихоньку трогать машину то вперед, то назад.

— Пробовал враскачку,— сказал шофер.— Разве так ее возьмешь!

— А как? — спросил Вася, продолжая свои вялые упражнения.

— Может, подтолкнуть? — робко предложил напарник шофера.

— Отдыхай,— посоветовал Вася.— Хочешь в тайге работать, пользуйся каждым случаем для отдыха. Иначе быстро окочуришься.

— Прицеп не пойдет... — пробормотал шофер.

«Магирусы» сигналили с той же беспощадной настырностью. «Подождете, гады!» — сказал им про себя Вася, а вслух— шоферу:

— Слушай, друг, коли уж влип, так помалкивай и перенимай опыт!..

Медленно, невыносимо медленно грузовик двинулся вперед. Казалось, сейчас он станет уже окончательно, захлебнувшись собственным предсмертным усилием. Содрогнувшись, лязгнув, едва не опрокинувшись, тронулся как-то боком прицеп. Главное — не форсировать двигатель, не торопиться,

держаться вот так, на волоске, иначе завязнешь еще хуже. Не подведи, родная, просил Вася свою ногу, жмущую, нет, ласкающую педаль газа. На тебя вся надежда! Человек — хозяин своего тела, но в какие-то минуты тело стремится вырваться из повиновения, возобладать над человеком, разрушить его замыслы. Тут одно спасение — деликатность. Сохранить свою власть грубостью, силой нельзя, необходимо тончайшее обращение. Прошу вас, обращался Вася к своей ноге, не спешите... Легонечко... тихонько... не надо столько газу, будьте любезны, уважаемая... после сочтемся, вы — мне, я — вам... Так, так, чудесно, душенька!.. Ах ты, радость моя!..

Грузовик полз по дну реки, погружаясь вроде бы все глубже. На стрежне он вдруг приподнялся, вырос из воды, видно, колеса поймали твердый грунт, прицеп развернулся, пошел прямо, и вскоре они стали на том берегу в облаке выпариваемой из мотора воды. И тут же «Магирусы» один за другим с воем устремились через реку, точно по переезду, и промчались мимо Васи, и хоть бы один шофер повел глазом в его сторону.

— Тараканы! —крикнул вдогон Вася, но не слишком громко.

— Кореш! — с чувством сказал шофер, став на ступеньку.

— Некогда, салажата! — Вася отстранил шофера, спрыгнул на землю и побежал к своему «газику».

Шофер и его подручный, как зачарованные, смотрели ему вслед. Он чувствовал на себе их восхищенные взгляды, когда залезал в машину, сползал по глинистому берегу, форсировал реку и брал подъем на другой стороне. А потом перестал о них помнить, изгнав напрочь из своего сознания не каким-либо волевым усилием, а как смаргивают соринку с глаза, чтоб не мешала. Если на каждую дорожную встречу и мелкое происшествие расходовать душу, то ее ненадолго хватит. Тратиться же надо только на большое. В короткой Васиной жизни это была уже вторая великая стройка, а до того он отслужил действительную, и не где-нибудь, а на Севере, и потом еще год вкалывал на Камчатке.

Но люди, которых он выручил, не имели такого богатого жизненного опыта, поэтому они долго смотрели ему вслед, сперва просто так, затем покуривая и увязывая про себя все приключившееся с ними на реке в тугой узел. И надо полагать, на долгую память завязался им этот узелок...

Мелкие передряги миновали сладко спавшего киномеханика, не выглянул он из своего сна и при новой вынужденной остановке. Опять перед ними был разрушенный мост. Покалечило его разливом, как и предыдущий: вывернуло, частью разметало деревянные быки, смело волнорез, проломило настил. Но сходство было лишь внешнее. По этому мосту еще ездили, и потерпевший грузовик с прицепом и «Магирусы» прошли по нему, а не бродом, на глинистых берегах не было следов. Вроде бы никаких проблем? Черта с два! Каждая из машин доканывала мост, и в каком виде остался он после замыкавшего колонну «Магируса», судить трудно. То, что все эти грузовики благополучно прошли, говорило в равной мере и о надежности моста, и о том, что он вконец разбит и для езды непригоден. Эту диалектику Вася знал назубок. Конечно, в таких случаях не мешает выйти, посмотреть, а там уже решать, полагаясь все же не на точное знание — откуда бы ему взяться? — а на опыт и угадку, которую Люда, вытягивая губы трубочкой, называет смешным словом «интуиция». Но в данном случае он не может решать один, обязан разбудить киномеханика и посоветоваться с ним. О чем?.. Вася поглядел на вздувшуюся, бурлящую воду и понял, что едва ли отыщется здесь переезд. Стало быть, надо перетаскать коробки с фильмом на ту сторону, отправить туда же киномеханика и рискнуть в одиночку.

— Митя! — крикнул он, повернувшись к спящему.— Проснись за ради бога!.. Хоть на минутку!.. Эй, парень, очнись!.. — и принялся трясти того за колено.

— Приехали, что ли? — пробормотал киномеханик, не открывая глаз.

— Нет... Мост разрушен...

— Пошел ты, знаешь куда?..— пробормотал киномеханик и снова рухнул в сон.

Вася глянул на часы: запас времени истаял. Значит, вопрос стоит так: или приехать вовремя, или поворачивать назад. Он включил первую скорость.

Доски угрожающе загрохотали, едва он въехал на мост. Весь деревянный состав этого вроде бы массивного, прочного, а на деле игрушечного сооружения, вовсе не рассчитанного на строптивый характер местных речек, способных за одни сутки превратиться из тощего ручейка в стремительный поток, вконец расшатался, расхилился. Мост может рухнуть окончательно в любую минуту.

Пробоина посреди настила была кое-как забита досками. Тонкие доски разошлись, между ними зияла пустота. Выйти посмотреть? Что толку? Интуиция — так, Люда? — выручай!.. Под мостом — перекат. Там река, ленясь и клокоча, переваливается через гряду валунов. Если свалишься, то не в воду — тогда еще есть шанс выплыть,—а на камни, с такой высоты расшибет вдребезги.

Он с лязгом переключил скорость на вторую, прибавил газу, приимчивая машина рванулась вперед: 80, 90, 100... Включил третью скорость. Вот это место — тонкие доски прогибаются под колесами, трещат, вроде бы разметываются в стороны, теперь под машиной пусто, но она не ладает, а пролетает над черной дырой, над беснующейся рекой, ударяется всеми четырьмя колесами о настил и катит по нему, ровно и успокоительно погромыхивающему, до другого берега.

Митя так и не проснулся. И если захочешь кому рассказать, что проехал по дыре, то не будет свидетеля. Впрочем, едва ли ему захочется рассказывать, кого этим удивишь? Если оглянуть всю гигантскую трассу строительства, то, наверное, сейчас такой вот прыжок-пролет производит с десяток машин, и нечего даром словами сорить.

Правильно, Васек, хвастаться тут нечем, а подумать можно. Кому надо, чтоб строили такие мосты? Конечно, поначалу, в спешке и запарке инженеры могли в чем-то ошибиться, просчитаться, не учесть местных условий, да ведь стройка идет уже не первый год, строят же мосты по-прежнему на соплях. Он как-то попробовал завести разговор с начальником СМП Якуниным, башковитым мужиком, ветераном сибирских строек. Тот объяснял все просто: мосты временные, чего с ними возиться? А строительство наше еще в пятилетку не вошло, живем подаяниями добрых дядюшек из министерств да молодежным энтузиазмом. Если станем временные мосты капитально строить, вылетим в трубу. Техника гробится, возразил Вася, люди гибнут. «Ты знаешь хоть одного погибшего?»— спросил Якунин. И странное дело, Вася таких не знал. «Ну, а техника?» — настаивал он. «Техника страдает, без спору, но все равно это выгоднее, чем строить Бруклинские мосты. И учти,—вдруг воодушевился Якунин,— Россия всегда так строила, любое свое дело вершила на краю возможного. Ты никогда

не задумывался, Василий, что, может, только так и надо — русским людям необходимы перегрузки?» Честно говоря, Вася никогда об этом не задумывался и даже не очень понял ход мыслей Якунина. Ему вспомнилась итальянская картина «Дорога длиною в год», ее по телевизору показывали, когда он на Камчатке служил. Там новый мост в деревне построили. И чтобы его испытать, решили на грузовике проехать. Все боялись риска, один мордастый парень отважился, ему жена изменяла, и он за жизнь не цеплялся. Так попы молитвы читали, женщины рыдали, мужчины крестились, а неверная жена, стоя на коленях, клялась, что больше сроду мужу не изменит. Вот это забота о человеке!.. «Ну, и ехал бы себе в Италию»,— мрачно сказал Якунин. «Что я там не видел?» — обиделся Вася. «А знаешь, парень,— опять воодушевился Якунин,— мне иной раз кажется, что лучшие ребята потому здесь и держатся, что им невозможные условия надобны». «Ну, если так рассуждать, так это черт знает до чего дойти можно!» — возмутился Вася. «Не дойдем,— пообещал Якунин,— черт знает до чего не дойдем. А примет нас пятилетка, многое изменится». На том и разошлись...

На станцию прибыли в самый раз, когда у клуба уже собралась взволнованная толпа, кто-то пустил слух, что машине не пробиться. Приняли их восторженно — кино не крутили уже две недели. Васю уговаривали остаться и пообедать, но он заторопился назад. Он эту картину уже видел и хорошо представлял, как восторги сменятся совсем иными чувствами. Лучше увезти с собой приятные воспоминания. К тому же у него были свои дела. Киномеханику предстояло крутить два сеанса, а потом двигать дальше с попутной. И Вася уехал...

Теперь, когда он избавился от пассажира и груза, мысли о мостах ничуть не тревожили. Насколько по-другому себя чувствуешь, если ты один и ни за кого не отвечаешь, кроме самого себя! На душе стало беспечно, легко, и Вася жал на педаль газа, пренебрегая рытвинами, ямами и разливами могучих луж, равно как и всякой дрянью, валявшейся на дороге: от негодных, измятых в площину канистр до старых, стершихся покрышек. Его трясло, швыряло из стороны в сторону, но это было даже приятно. Он начинал понимать рассуждения Якунина насчет перегрузок: что для русского здорово, то для другого смерть. Довольно быстро домчался он до моста, и здесь ему пришлось притормозить. С другой стороны, почти уже въехав на мост, стоял бензовоз, и шофер, высунувшись из кабины, нервно курил, приглядываясь к разрушенному настилу. Силен бродяга, курит в бензиновых испарениях! Вася взял малость в сторонку, он обязан был пропустить бензовоз, и стал ждать, что надумает водитель. Тот поступил простейшим образом: отбросил сигарету и двинулся напролом. Видимо, ему только и нужен был внешний толчок, чтобы решиться. Таким толчком послужило Васино появление. И снова не молились попы, не плакали женщины, не осеняли себя крестами мужчины, и ветреная красавица не ломала, коленопреклоненная, рук, клянясь быть верной и любящей, если... Поехал шоферюга, даже не удосужившись проверить, как там, на мосту. Он резко, насколько позволяла тяжелая машина, набрал скорость, и, следя за его действиями, Вася понял — проедет. Бензовоз гремел, как тяжелый танк. Он выехал на середину, прошел по воздуху в чистой тишине и снова загрохотал досками, но уже ровнее и спокойнее, потому что с этой стороны мост держался крепко. Он проехал мимо Васи, не оглянувшись, лицо у него было оцепенелое...

Близ полудня Вася остановил машину у Хоготского дома приезжих. Гости из Москвы еще не вставали, что не удивительно — легли в пятом часу утра. А Люда сидела в гостиной — она спала там на диване — с папиросой над нетронутым завтраком и чашкой остывшего черного кофе. Васю взяла досада. Он сам приготовил ей завтрак перед отъездом: достал большое голубоватое гусиное яйцо — выменял в соседнем бараке на пачку болгарских сигарет, собрал целую тарелку закусок, оставшихся от вчерашнего застолья: два кусочка швейцарского сыра, шпротину в желтом масле, три куска докторской колбасы и граммов триста масла, запиханного между двумя половинками батона,— а она ни к чему не притронулась.

— Эх ты, салага, салага! — горестно сказал Вася.— Все дымишь и ничего не ешь!

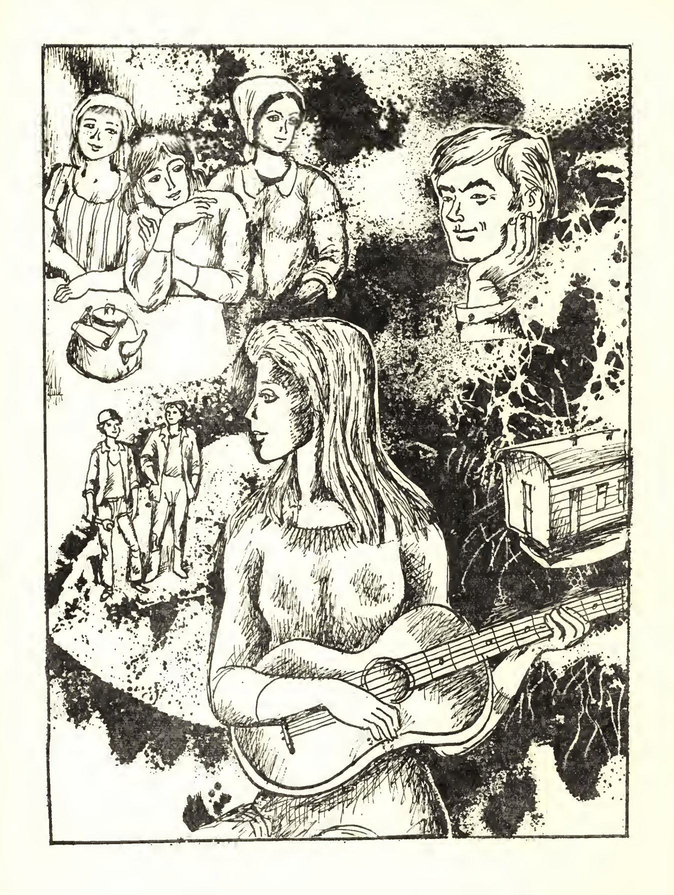
— Не идет,—сказала Люда. Была она бледная, невеселая, лишь на скулах горели два красных пятна.

— Съешь хоть яйцо. А я тебе свежего кофе заварю.

— Яйцо не хочу. Ешь сам. Я хлеба с маслом поем.

— Правда?— обрадовался Вася и пошел на кухню, где на слабом баллонном газу грелся огромный чайник. Вася отлил из чайника воды в медный кувшинчик и поставил на другую конфорку, достал из стенного шкафчика растворимый кофе и сахар. В поселковых гостиницах всегда имелся запас чая, кофе, сахара, соли, приправ, макарон, консервированного молока, финских сухих хлебцев и спичек. Но Люда не может сама о себе позаботиться, и Васе приходится ходить за ней, как за маленькой. И это у нее вовсе не от забалованности, Васе известна ее прежняя жизнь: сирота при живых родителях — разошлись, разъехались, создали новые семьи, а Люду подбросили старой одинокой тетке, едва терпевшей навязанную племянницу. Просто она равнодушна к материальной стороне жизни. Она не замечала, что ест, могла и вообще не есть, вот только кофе ей иногда хотелось да курила жадно. И отсутствие курева переживала мучительно, хотя курить начала недавно, здесь, на стройке. И как только за голос не боится? Совсем расклеивается она после вечеров вроде вчерашнего, когда ее заставляют петь под гитару. Ведь с пения и начались все ее неприятности. Может, лучше бы оставить ее в покое, не совать ей в руки гитару, но начальник комсомольского штаба Пенкин упорно вовлекает Люду в подобные сборища. Вначале Васе казалось, что ушлый парень хвастает Людой перед разными значительными наезжими людьми, а потом, когда он лучше узнал Пенкина, то переменил мнение. Похоже, Пенкин ради самой Люды старается, хочет показать, чего она стоит. А разве так не ясно? Да и кому показывать-то — людям, которые уедут и навсегда о ней забудут? А Люда после этих концертов сама не своя: плохо спит, утром разбитая, мрачная, кусок в горло не лезет, только отчаянно смолит одну сигарету за другой. Слишком много тягостного подымается в ней. Но Пенкин никогда ничего не делает зря, видать, есть у него какая-то цель.

Одно время Вася был прикомандирован к его штабу. И частенько говорил ему Пенкин с задорной интонацией, ничуть при этом не веселея бледным, одутловатым, будто накусанным осами лицом с темными медвежьими глазками: «Гуляем, Васек! Приехали журналисты из Москвы (писатели, художники, артисты, спортсмены или кто-то из многочис-



ленных шефов).— Закатимся в Хогот на всю ночь. Забирай Люду, гитару и — за мной!»

Ходил в передовиках Хогот, его строители сообразили вписать поселок в тайгу, вместо того чтобы по общепринятому способу вырубить всю растительность и на пустыре, обдуваемом злыми ветрами, ставить скучные бараки. Но, конечно, не только в Хогот ездили, да и не в нем дело. Где бы ни бывали, вечером в доме приезжих собирались за чайником или кофейником, случалось и за бутылочкой вина (на стройке сухой закон правил) разговоры разговаривать, но кончалось неизменно одним: «Людушка, не сыграешь?» И та, ровно и прочно заалев тонким скуластым лицом, сумрачно, без улыбки, брала гитару и сосредоточенно, низко склонясь над декой, настраивала и начинала петь собственного сочинения песни и чужие, БАМу посвященные, а затем старые русские романсы. И прекращались разговоры, никому не хотелось ни мудрствовать, ни разживаться информацией, ни решать мировых проблем, ни просто болтать языком, всех захватывала музыка этой девчонки, будто разгоравшейся с каждой минутой. Ее ломкий голос в пении разламывался четко — на густой, низкий или на высокий, звонкий лад. Пенкин говорил, что так умеют только знаменитая певица из Латинской Америки и еще какой-то итальянский парень. Молчаливая, замкнутая, всегда погруженная в себя, Люда начинала жить — глазами, скулами, расцветшим улыбающимся ртом, даже ало-прозрачными мочками маленьких ушей, всем гибким, напряженным телом, становилась общительной, насмешливой, почти веселой и такой красивой, что Васе казалось — ее непременно умыкнет новоявленный Змей Горыныч. Ах, как она пела!.. А когда все главное было спето — и чего сама хотела и чего просили,— наступала пауза, она заводила на Васю свои ореховые, блестящие, с голубоватыми белками глаза и для него, специально для него, пела глупую, чудесную, самую лучшую в мире песню, которую никто не знал и не просил:

Ах, Коля, грудь больно.
Любила — довольно!..

Незнакомые люди дружно понимали это как замаскированное шутливой интонацией объяснение в любви и начинали звать его Колей. Он не поправлял их, спокойно отзываясь на Колю. Но случалось, под исход вечера кто-нибудь более приметливый обнаруживал, что он Вася, а не Коля, и выражал недовольство таким самозванством. А какая ему разница, уж он-то знал, что объяснения в любви ни явного, ни тайного в этой песне нет в помине, просто Люда хочет доставить ему удовольствие. Он ни на что не посягал, Вася-Коля, не рассчитывал и не надеялся, просто готов был отдать за нее жизнь — только и всего.

Вечера эти оканчивались тем, что Пенкин говорил, явно подражая кому-то: «Велико наслаждение видеть вас, Лариса... простите, Людмила Михайловна, но еще большее — слышать, и все-таки пора спать, господа!» И Людино лицо мгновенно потухало, будто выключался в ней свет: сбегал румянец, исчезал блеск в ореховых глазах, она вяло прощалась со всеми, подавая безвольную, чуть влажную руку с раскаленными от гитарных струн кончиками пальцев и сразу уходила на отведенную ей койку. А утром была молчалива, подавленна, бледна, лишь горели заострившиеся скулы, и Вася мучительно пытался заставить ее проглотить хоть кусок.

Он знал, как важно для здоровья хорошо и вовремя есть. Испортил он себе желудок на Камчатке, где питался одними консервами, да и то от случая к случаю. Работа такая была, а главное — беспечность: казалось, все с рук сойдет. Не сошло. Теперь от горячего, острого, кислого, а иногда и черт знает от чего изжога мучает и боль сверлит солнечное сплетение. А ведь луженый желудок был...

Вася принес кувшинчик с кофе и разлил по стаканам — круглым, а не каким-нибудь там граненым, в красивых металлических подстаканниках. Он бросил в Людин стакан два куска сахара, посмотрел на нее и бросил третий, хотел уже бросить четвертый, но был остановлен резким выкриком: стоп! Вздохнув, он кинул этот кусок в свой стакан и отправил вдогон еще шесть.

—Как ты можешь есть столько сахара?— с гримасой отвращения спросила Люда.

— Он полезен для ума,— пояснил Вася, размешивая сироп.

Люда как-то издалека посмотрела на него, но ничего не сказала. Они кончали завтракать — Вася энергично, бодро, чувствуя, как замирает проснувшаяся боль, Люда вяло, через силу, превозмогая себя в угоду Васе,— когда нежданно-негаданно появился начальник СМП Якунин. Его-то что принесло сюда в воскресный день? И потом он же отпустил вчера Васю до понедельника, значит, не собирался в Хогот.

Люда работала у Якунина уже четвертый месяц, обитала с ним в одном вагончике вместе с двумя его заместителями. Да и вообще всецело находилась в его распоряжении, кроме тех случаев, когда со стены снималась гитара и Пенкин увозил ее на очередную встречу. Якунин в этих встречах никогда не участвовал, он был принципиальным противником Людиного пения. Считал, что не нужно ей петь, видимо, у него были свои веские соображения, как у Пенкина — свои. Но вслух он на этот счет не высказывался, во всяком случае, при Пенкине, и даже нередко отпускал с ними Васю, поскольку машина комсомольского штаба не вылезала из ремонта. Вася относился к Якунину с огромным уважением, как, впрочем, и все на стройке, но еще с бо́льшим уважением он относился к Люде и считал, что она может делать все, что находит нужным. Кроме того единственного, что и поставило ее в зависимость от Якунина. Он не знал, да и знать не хотел, что произошло тогда между Людой и Якуниным, но не сомневался, она замышляла что-то плохое для себя, и такого права за ней не признавал.

— День-ночь все поем? — угрюмо произнес Якунин.— Весело живете, молодцы!.. Люда, собирайся, надо закончить документацию. Погребов приедет завтра.

— Сегодня воскресенье,— напомнил Вася.

— Спасибо! — соизволил заметить его Якунин и снова, язвительно, Люде: —Возьмешь отгул во вторник, если так переутомилась.— Пол-оборота к Васе:— Отвезешь?

— Можно...

— Я и сам знаю, что «можно»! Но ты же выходной.

— Хорош выходной! Меня уже на Четверку гоняли. Имейте в виду, товарищ Якунин, разрушены все мосты. Сегодня-завтра Четверка будет отрезана.

— Ты какой-то маньяк! — сказал Якунин.— Что ты все ко мне с мостами пристаешь?

— А к кому мне приставать? Вы начальник.

— Ладно, я позвоню,— неохотно сказал Якунин.

— Позвоните сейчас. Это не шоферское нытье. Там полная хана.

— Позвоню сейчас! Отстань. Так отвезешь?
— Конечно. А что с журналистами делать?
— Это не по моей части. Где Пенкин?
— Он мне не докладывает.
— Вопрос праздный, Пенкин вездесущ,— мрачным голосом произнесла Люда.

То были первые ее слова с момента прихода Якунина, и он обрадовался, услышав ее голос. И пояснел большим, тяжелым, неподвижным, красивым даже, но каким-то давящим лицом.

— Вездесущий Пенкин сам решит, как быть с журналистами. Они еще дрыхнут?
— Зашевелились вроде... Кашляют.

И тут возник Пенкин. Невысокий, плотный, плечистый, на легких ногах, бывший боксер-перворазрядник.

— Чай да сахар! — сказал он Люде и Васе, затем, будто только сейчас узнал Якунина: — А-а, начальство пожаловало! Не ждали, но рады.
— Люда возвращается в Заринуй,— сдержанно отозвался Якунин,— срочная работа. Если хочешь, можешь отправить своих журналистов. Места хватит, я остаюсь здесь.

Чувствовалось, что между этими двумя людьми, знающими цену друг другу, не существует взаимной симпатии. Вася догадался об этом сравнительно недавно и был крайне удивлен. Им нечего делить, интересы у них на стройке общие, работают рука об руку. Может, причина в Люде? Якунин не хотел, чтобы она пела, не хотел ничего похожего на то, что привело ее к беде, а Пенкин, приехавший сюда позже и узнавший о случившемся с чужих слов, считал, что нечего превращать Люду в затворницу, отгораживать от людей и наступать ей на горло почти в прямом смысле слова. Вася был бы на его стороне, если б не видел, как мучительно даются Люде ее выходы в свет. Прошлое накатывало на нее тяжелой, мутной волной. И тут он готов был признать суровую правоту Якунина, да не мог — лишь с гитарой в руках оживала Люда, загоралось жизнью и радостью ее лицо. Самодеятельности у них не было, а петь для себя — это он узнал от Люды — нельзя. Можно горланить в лесу, собирая грибы или ягоды, но разве о том идет речь? А у Люды должны наливаться блеском глаза и расцветать рот, даже если за это приходится дорого платить. Нет, все-таки правда за Пенкиным, хоть он и моложе начальника лет на пятнадцать.

— Журналисты остаются,— объявил Пенкин.— Встретили ребят, знакомых по Усть-Илиму.
— Все ясно,— сказал Якунин.— Общий привет! — и вышел из комнаты.

Вася нагнал его на крыльце.

— Вы не забудете насчет мостов?
— Я ничего не забываю.
— Когда за вами?
— Завтра к одиннадцати. Отоспись хорошенько. Что-то ты выглядишь паршиво. Брюхо болит?
— Когда жру нормально, не болит.
— Значит, болит. Смотри, наживешь язву. К доктору ходил?
— Да ладно вам!..
— Ничего не «ладно»! Меня не устраивает, чтобы ты свалился. В среду пойдешь на рентген. Иначе к работе не допущу...

Якунин пересек улицу и, нашарив ключ в обычном месте под порожком, зашел в пустую по воскресному дню контору. Он дозвонился к мостостроителям, для которых выходных не существовало, и после долгого, нудного, изнурительного разговора, вернее, торговли — за красные глаза ничего не делается — добился обещания, что мосты срочно «подлечат». На большее он и не рассчитывал. Если повезет с погодой, то недели на две — относительно спокойной — езды хватит. А дальше загадывать нечего. Надвигалась осень — слом погоды, и тут ничего нельзя предвидеть. А вдруг да и пришлют давно обещанную дорожную технику и специалистов по мостам? Или растопится чудовищная ледяная линза, обнаруженная геологами как раз под его участком, тогда вообще не стоит беспокоиться о мостах и ни о чем прочем. Конечно, последнее маловероятно, все земляные работы ведутся с предельной осторожностью, чтобы не задеть линзу, не повредить защитной оболочки.

Покончив с мостами, Якунин ощутил странную пустоту. Зачем, собственно, он приехал сюда? Какое неотложное дело выгнало его из теплого, уютного вагончика и заставило сесть на попутную машину в Хогот? Ну, дело оказалось, Вася подбросил. Но ведь не мог же он на это рассчитывать. Конечно, дела найдутся. Как только аборигены проведают, что приехал начальник, так потянутся сюда, словно паломники за святой водой. Всем что-то нужно. Поселок образцовый, он хорошо, умно спланирован, даже наряден, с великолепным клубом, школой, столовой, все это так, а типовые жилые дома ни к черту не годятся: эти дачки хороши где-нибудь под Кисловодском, а не в зоне вечной мерзлоты, где мороз доходит до сорока градусов. Каждый домик снабжен крылечком и терраской, а санузла нет. Рукомойники висят в прихожей, и уже сейчас на рани воду прихватывает ледком, а дощатые сортиры раскиданы по всему поселку. Хорошо там будет зимой, особенно женщинам. Но это давно известно, необходимые меры приняты, и, надо полагать, все образуется. А не образуется — и так перезимуют, тяжело, мучительно, да разве впервой? Так было, есть и еще долго будет. Уютно жить в каком-нибудь Люксембурге или Великом — с мышью норку — княжестве Лихтенштейн, а не в стране, раскинувшейся «от тайги до Британских морей». Здесь слишком много пространства и ветра. Кстати, о каких «Британских морях» пели они в детстве у пионерских костров? Не Балтика же имелась в виду? Нет, это надо понимать символически, как в том стихотворении: «Британия, Британия — владычица морей». Господи, и одного поколения не минуло, а что осталось от былого могущества? Островок обочь Европы, раздираемый национальными, экономическими и социальными противоречиями. Ладно, англичане в своих делах сами разберутся, а ему собственных забот хватает. Так зачем он все-таки приехал? Чтобы сидеть в пустой, скучной, слабо истаивающей смолой конуре и ждать, когда к нему потянутся ходоки, чьи требования он все равно не в силах удовлетворить. Обычно он делает все возможное, чтобы избежать этих томительных и бесцельных встреч. А заняться и дома есть чем, коли приспичило пожертвовать выходным днем.

Нечего играть с собой в кошки-мышки. Он приехал сюда единственно из-за этой чертовой девчонки. Взвалил себе обузу на плечи, мало ему забот, теперь расплачивается. Он ничего не умеет делать наполовину, принял груз и будет тащить до полного изнеможения. Главное, не приходит к нему такое изнеможение. Он из породы тех проклятых богом людей, у которых спина грузчика, они жить не могут, если их не навьючат до отказа. А ведь он только с виду кряж, а внутри весь трухлявый. С двадцати трех лет, как институт окончил, зарядил на бродяжью жизнь, и сказалась ему палаточная романтика, с ночевками у костра, в сырых землянках, в худых палатках, фанерных бараках. Сердце еще не подводит, жаловаться грех, но тело, застуженное и наломанное, болит с головы до пят. Каждая косточка ноет, нудит, не дает покоя. Он не в претензии, потому

что не мог иначе, и, если б начал все сначала, обязательно приобрел бы свои хворости, неотделимые от бивуачной жизни. Из этого вовсе не следовало, что он, подобно многим хвастунам, считал свою жизнь правильной, безупречной и единственно для него подходящей. Нет, он любил д е л а н и е, но прямое делание очень рано заменилось у него косвенным, уже вскоре после института, когда из мастеров он неуклонно «пошел вверх». Он сумел в какой-то момент остановиться и сохранить место возле делания, иначе сидеть бы ему в министерстве, в мягком кресле, при трех-четырех телефонах, но все равно от прямой ручной работы его оторгло давно. А что ни говори, самое лучшее — это делать что-то руками. Он и сыновей своих приохотил к ремеслу. Оба парня кончили техникумы, один стал гранильщиком, другой краснодеревцем. Правда, гранильщик в настоящее время гранит сапогами каменистую почву Алтая — отбывает действительную, а краснодеревец, отслужив на Амуре, такие интерьеры оформляет, что завидки берут. Он женился, ждет ребенка и не только не тянет денег с родителей, но все норовит матери подсунуть, как будто им своих не хватает. Какие прекрасные еще сохранились профессии: каменщик, лепщик, ювелир, столяр, плотник, гранильщик, резчик по дереву, реставратор. Профессии, освобождающие человека от самого страшного — присутственного места, дающие самостоятельность, хороший заработок, чувство самоуважения, каким обладает каждый честный ремесленник, но не может обладать канцелярский мышонок. У ремесленников есть заказчик, в остальном он сам себе голова. И начни Якунин сначала, он стал бы плотником, сейчас интересно плотничать, дерево опять в цене и почете, из него много чего строят. Но не сложилось: он начальник важного участка Великой стройки, седьмой и последней в его жизни. Когда закончится это строительство, ему останется года два до пенсии.

Можно было бы под уклон дней чуть меньше себя тратить и не мчаться на попутном грузовике за пятьдесят километров из-за вздорной девчонки. Но всяк своему нраву служит. Он ненавидит в людях раздвоенность, то, что теперь принято называть с противной умильностью «вторым талантом». Чепуха все это! Не бывает никакого второго таланта. Талант вообще редкость, достаточно если ты хороший профессионал. В старое время встречались люди разносторонне одаренные, да ведь и жизнь была куда проще, охватнее. Но давалось это либо гениям, либо дилетантам вроде тех дамочек, что писали маслом и акварелью, бренчали на фортепианах, пели романсы и сочиняли стишки или слюнявые рассказики. В наше время, дифференцированное до последней степени, такие номера не проходят. Сейчас просто физиком нельзя быть: надо внутри науки выбрать узкую специальность. И так называемая самодеятельность — вроде разных там уральских хоров или сибирских плясовых ансамблей — самая настоящая профессиональная работа. Всякая другая самодеятельность — утешение для неудачников или ловушка для заблудившихся в трех соснах. Последнее и случилось с Людой.

Приехала с московским поездом красивая девчонка, полная романтических и наивных, чтоб не сказать просто глупых, представлений о таежной жизни, о быте и нравах великих строек — к сожалению, у многих парней и девушек такой детский настрой, когда едут они на крайне суровую, даже жестокую жизнь, тяжелейшую работу и гнусный климат. Заморочили им головы кострами, гитарами, бригантинами, алыми парусами, и они рвутся сюда из теплых городских квартир, из-под материнского крыла, как птицы из клетки. Кстати, птицы, привыкшие к неволе и выпущенные на свободу в День птиц, обречены на гибель.

С этими так не случается, никто не гибнет, но многие бегут. Сколько народа осталось от первого поезда, который провожали с особой помпой, оркестрами, напутственными речами, в ослепительных вспышках блицев? По пальцам можно пересчитать, но эти будут до победного конца. Тут нечему удивляться. Не раз обновится людской состав, пока не станет тем коллективом, который святой Петр без проверки в рай пустит. Здесь уже не будет ни бичей, ни хапуг, ни халтурщиков, лишь гибкая человеческая сталь. Но для этого нужно время, и оно есть. А те, что «были первыми»,— самые трудные люди, ибо ехали вслепую, не представляя, что их ждет, не рассчитав своих сил. Энтузиасты с тонкими шейками. Правда, и среди них оказываются крепыши, одержимые его, якунинской, жаждой делания, немедленного, прямого, активного действия. Эти и осядут в лоток, как золото при промывке, а другие всплывут пустой породой и будут выброшены.

Особенно трудно с теми, у кого «второй талант». Значит, первого нет, простого таланта добросовестно делать порученное дело. Люда приехала сюда не из теплого родительского дома — чего не было, того не было,— в остальном же она ничем не отличалась от московских козявок, как тут принято выражаться. За плечами у нее был библиотечный техникум и года три работы в районной библиотеке. Почему не кончила вуза, хотя бы того же библиотечного, он теперь, кажется, институтом культуры называется? Может, надо было на жизнь зарабатывать? Но что мешало ей поступить на вечерний или заочный? Догадаться нетрудно: небось, в самодеятельности подвизалась. У нее же голос!.. Но, видать, чем-то не устраивала ее такая жизнь, вот и кинулась на БАМ со всех ног.

Якунин не наблюдал ее поначалу, хотя приметил сразу — красивая, не просто красивая, а какая-то горящая. Хорошо ей тут показалось, радостно, счастливо. И было бы хорошо, да подвел второй талант. О голосе ее Якунин отказывался судить. Он был лишен слуха и музыкальности, терпеть не мог визгливого женского пения, да и мужское не больно жаловал. Ну, когда хор грянет «Славное море, священный Байкал» да еще под настроение — куда ни шло, всякое другое пение или раздражало или оставляло равнодушным. Он любил то, что делается руками: резьбу, чеканку, керамику, фарфор, ювелирные изделия. К остальному искусству не испытывал тяги, а читал лишь научно-техническую литературу или классиков, чтобы уснуть. Он был уверен, что среднего человека едва хватает хорошо — ну, хотя бы просто совестливо — делать свое прямое дело и поддерживать профессиональную форму: не отставать, быть в курсе нового, и довольно с него. Остальное — или халтура, или игра, или желание пыль в глаза пустить. Ну, а Люда, девчонка тщеславная к тому же, накинулась на все здешнее, как осы на сладкий пирог. И библиотеку подбирала, и на субботники ходила, и пела где только могла, и самодеятельность затеяла. Они поставили музыкальный спектакль по Брехту, Люда была и режиссером и главной артисткой. Шум, треск, в газетах отзывы, даже в центральных, по радио раззвонили. Потом ее на Всероссийский фестиваль рабочей песни послали, вернулась с призом — хрустальной вазой. А девчонки, с которыми она сюда приехала, все это время по колена в болотной жиже вкалывали, бараки строили, мучались от гнуса и жажды — не хватало питьевой воды, но о них не кричали, не писали в газетах. Встретили они свою преуспевающую подружку без цветов и

оваций, на что она, кажется, рассчитывала в упоении молодой славы. И вот тогда Якунин, издали и отнюдь не пристально следивший за Людой, попробовал вмешаться в ее судьбу. И вовсе не из доброго чувства к ней, его тоже начала раздражать эстрадная слава девчонки, приехавшей сюда железную дорогу строить, а не песни играть. Он как-то остановил ее на улице. Ну, отпелась?.. Пойди-ка, поработай в строительной бригаде. Она вспыхнула, ничего не сказала и уже на другой день ловко действовала мастерком — способная все-таки, ничего не скажешь! — в бригаде штукатуров на объекте номер один—банно-прачечном комплексе. Долгожданный объект сдали досрочно, и тут совсем не к месту сработала Людина популярность. Пенкин, умница, сроду бы такого не допустил, но его еще не было на стройке, а звонарь участковой комсомольской звонницы ударил во все колокола. Оглушительный перезвон гремел и разливался лишь в Людину честь, будто никакой бригады в помине не было и выдающаяся бамовская певица, автор песен о рабочей молодежи, лауреат Всероссийского конкурса, в одиночку построила комплекс. Всем равняться на Людмилу Ратникову, красу и гордость комсомольской стройки!..

Что произошло в Людином бараке, осталось неизвестным, во всяком случае, Якунину. Но ясно одно: девчата выдали ей сполна, выплеснули всю горечь и обиду, разгрузили душу, возможно, словами не ограничилось. Он этого не ведает, хотя о скандале узнал сразу. Нашлась сердобольная душа, подняла его с кровати среди ночи. «Людка в лес побежала, как бы чего над собой не сделала!» Почему он сразу догадался, где ее перехватить? Сколько бессознательного таится даже в самом сознательном человеке! Он же не думал о ней сколь-нибудь глубоко и подробно, но сразу охватил случившееся и сделал правильные выводы. Он лучше знал местность и оказался на железной дороге почти одновременно с ней. Товарняк с двумя пассажирскими вагонами как раз выходил из-за поворота. И все-таки она опережала его, а он, стянутый своими хворостями, как обручами, не был отменным бегуном. По счастью, Люда споткнулась у насыпи о горбыль и упала. Паровоз прочавкал поршнями, застукотали вагоны. Когда она вскочила и, хромая, устремилась к полотну, он настиг ее, в отчаянном рывке схватил за плечи и отшвырнул прочь. Потом поднял ее, взвалил на плечо, недвижную, мягкую, словно бескостную, и понес в поселок. Его ничуть не заботило, что подумают окружающие — несмотря на поздний час, жизнь в поселке продолжалась; он знал только, что должен унести ее, спрятать, запереть и не выпускать, пока не минует ее безумие. В лесу она очнулась и сказала: «Пустите!» — «Ты пойдешь со мной?» — «Да».— «И не вздумаешь бежать?» Второй раз ему уже не нагнать ее. «Нет. Пустите». Поверил и опустил на землю. Она убрала с лица волосы, пригладила их ладонями, стряхнула песок с колен и послушно пошла рядом, касаясь его острым локтем.

Он жил с двумя заместителями в прекрасном немецком вагоне, снятом с колес и поставленном на земляной фундамент. В передней части находилась контора; задняя, большая, служила жильем. В вагоне было чисто, тепло, сухо и уютно, он располагал туалетом и даже душем. Вагон прислали в качестве опытного. В прежнее время Якунин никогда бы не посягнул на него, но, постарев и расклеившись, напрочь отбросил подобную щепетильность и сразу захватил вагон. Там было место еще для одного, надо только лежак Люды отделить от мужчин занавеской. «Ты будешь жить здесь и работать у меня. Штатное место — чертежница. Но займешься моей канцелярией, там беспорядок на грани уголовщины». Она равнодушно кивнула. И в последующие дни и недели она безропотно и безразлично соглашалась со всем, что он говорил. «Ешь!» — она ела, вяло двигая нежно очерченными челюстями. «Ложись спать!» — она ложилась. «Гаси свет!» — гасила. «Подъем!» — тут же вставала. Порой ему казалось, что перестань ею управлять чужая воля, Люда опадет, рухнет, как марионетка, если отпустить веревки. Но вскоре он понял, что это не так, покорность ее была особого толка. Прежде всего она слушалась только его, заместителей начальника СМП словно не замечала и, если кто-то из них пытался распоряжаться ею, была, как глухая. И Якунин попросил оставить ее в покое. При этом она навела образцовый порядок в его бумагах — сказался навык систематизации, воспитанный библиотечной работой. Потом выяснилось, что она бегло печатает на машинке и неплохо чертит. Она становилась необходимой.

Из вагона Люда почти не выходила, даже питалась дома, готовила себе порошковый суп на электроплитке. Но однажды он увидел на стене за ситцевой занавеской гитару. «Откуда?» — «Лерка принесла»,— уронила безразлично. Лерка — та самая сердобольная душа, что подняла тревогу. «Не расколошматили?» — «Как видите, нет.— И добавила с угрюмой усмешкой: — А хотели...» Потом он обнаружил, что она курит. Ему не нравилось, когда девушки курили, но тут он обрадовался. Значит, поставила крест на своем пении. С прокуренным горлом не запоешь. Он хотел от нее одного — цельности, лишь в этом видел ее спасение.

Все изменилось с приездом Пенкина. Как-то раз, вернувшись поздно домой, он не застал Люды, впервые с ее поселения в вагоне. Не было и гитары на стене. Он ждал ее чуть не всю ночь, но вернулась она лишь на другой день с горящими скулами и потухшими глазами. Оказывается, Пенкин возил ее в Хогот на встречу с шефами из Горьковской области. «Ты считаешь, что поступила правильно?» Она промолчала. «Я думал, со всем этим покончено, как с чересчур затянувшимся детством. Началась серьезная взрослая жизнь.— «Жизнь? — переспросила она.— Разве это жизнь?» — «Значит, никаких выводов не сделано?» «Ах, вон что!.. По-вашему, меня поставили на колени?» — «Я этого не говорю! — смешался он.— Ты вольна поступать, как тебе вздумается. Но мне казалось, я имею право дать тебе совет».— «Ну, еще бы, вы же мой спаситель!» — интонация была недоброй, насмешливой, вызывающей, и он замолчал. Он замолчал, поняв смятенным сердцем, что безоружен перед этой девчонкой, потому что любит ее. Любит давно, с той самой минуты, когда поднял ее на руки и понес через лес, но в защитном самоослеплении заставлял себя ни о чем не догадываться. Все это было безнадежно, хотя он знал, что не противен ей. Порой казалось, что она могла бы кинуть ему себя, как кость, из благодарности, вернее из гордости, чтобы не чувствовать себя вечно обязанной ему. Расплатиться и обрести свободу... И как это ни печально, с него хватило бы даже такого суррогата счастья. Но он не имел права на ее близость. Наверное, злые языки уже болтают на их счет, оснований для сплетен более чем достаточно. Но пока между ними ничего нет, он мог плевать на любые слухи и прямо смотреть людям в глаза. Стоит переступить черту, и он теряет себя нынешнего и не может требовать от людей того, что зачастую требовал сверх их возможностей и терпения; явив слабость, ты уже не сделаешь сильными других.

Есть иной путь — открытый. Женись на Люде, женись, настуженный, наломанный, негнущийся, как засохший ствол, женись — подумаешь, четверть века

разницы в наше-то снисходительное время! — женись со своей большой головой, тяжелым, неподвижным лицом и бычьими, натекшими кровью глазами — от давления или возрастных приливов? — женись, девчонкам со стройплощадок ты до сих пор кажешься мужиком что надо, у тебя все качества современного модного антигероя: возраст, болезни, мрачность, сила и тьма-тьмущая опыта любого сорта, женись — сыновья твои стали на ноги, а жене ты не нужен. Двадцать лет совместных скитаний, сырые ночевки, самодельные аборты, зверское пренебрежение к хрупкой женской сути прикончили в ней женщину. Она принимает тебя, когда ты приезжаешь в отпуск домой, голодный, как волк зимою, но она пуста, быть с ней — все равно что с манекеном. Кто тебя осудит, да и чей суд тебе страшен? Чей? Свой, свой собственный. Можно бросить женщину, но нельзя бросить пустую оболочку женщины. Тогда ты не человек, ты хуже самого последнего подонка. Бывают безвыходные положения, хоть и трудно с этим смириться. И не пытайся играть в другую игру: вытравлять из памяти, как ты нес эту девочку через сосняк. Вес ее легкого, беспомощного тела навсегда останется на твоем плече, на всей твоей плоти, на твоей душе. Ты с этим не разделаешься никогда. Твое положение безнадежно, и брось корчить из себя воспитателя. Ты можешь воспитывать коллективы или молодцов-сыновей, но не существо, перед которым мысленно ползаешь на коленях. И откуда ты знаешь, в чем ее благо?..

Большой, грузный человек с тяжелым, властным лицом сидел в пустой, пахнущей смолой и солнцем комнатенке, и выпуклые красные глаза его набухали едкими слезами, и никто в целом мире не мог помочь ему...

...Вася, Люда и Пенкин благополучно продвигались к Зариную и в исход обеденного часа остановились возле образцовой столовой московского поезда.

Здесь их отменно покормили, и даже Люда под Васиным нажимом съела чуть не целую тарелку суточных грибных щей. Она успокоилась, погасли пятна на скулах, и впервые за последнее время Люда отказалась от предложенной сигареты.

Когда же подали кисель, она попросила Пенкина:

— Можно оставить тебе гитару? Я к девочкам загляну.

— К каким девочкам? — спросил Пенкин, которому до всего было дело.

— К своим,— сказала Люда спокойно.

— А-а!.. Понимаю. Оставь гитару, после занесу.

Люда допила кисель, поднялась, оправила юбку, пригладила волосы ладонями. Она никогда не носила с собой ни сумочки, ни расчески, не пользовалась косметикой. И тут Васю при всей его недогадливости пронзило:

— Постой!.. Ты пойдешь к... этим?..

— Что ж тут такого? У меня нет других подруг.

— Но они... но ты! — Вася задыхался от негодования.

— Я ничего у них не украла,— тихо сказала Люда.

— Молодец! — с чувством произнес Пенкин, и его бледное, одутловатое лицо слабо порозовело.— Молодец, девчонка! Так и надо! Только так!..

Ну, конечно, опять всеобщее понимание, один Вася — пень. А на кой дьявол Люде идти туда, где с ней так гнусно поступили? Пусть бы покланялись, стервы, чтобы Люда к ним снизошла. Но раз Люда решила, так тому и быть. Вдруг, двинув стулом, Вася вскочил и нагнал Люду в дверях.

— Ты им скажи... Если они того... я им барак спалю, честное комсомольское!

— Ладно! — Люда рассмеялась, что с ней не часто бывало. На крыльце обернулась: — Вася, чуешь?..

Он вскинул маленькую голову с острым подбородком: конечно, чую!.. Только вот — что?..

Вася вернулся к столу, когда Пенкин расплачивался с подавальщицей в белой крахмальной короне над сытым румяным лицом. Подавальщица отплыла, покачивая бедрами и бренча мелочью в кармане фартука.

— Вот характер! — с чувством сказал Пенкин.

Вася посмотрел вслед тучной молодайке, не понимая, как разглядел Пенкин характер в этом телесном изобилии.

— Да не о ней! — с досадой сказал Пенкин.— Сколько нужно мужества, и широты, и настоящей гордости!.. Ах, молодец!..

— А ты в этом сомневался? — холодно спросил Вася.

— При чем тут «сомневался»? Рад за нее, по-настоящему рад...

И тут их разъединили: к Пенкину озабоченно шагнул парень из комсомольского штаба, а Васю окликнул его приятель и сосед по бараку.

— Васек, нас турнули!

— Как турнули?

— Очень просто. Хозяева вернулись. Вещички наши повыбрасывали и отдыхать легли. Серьезные ребятки, однако.

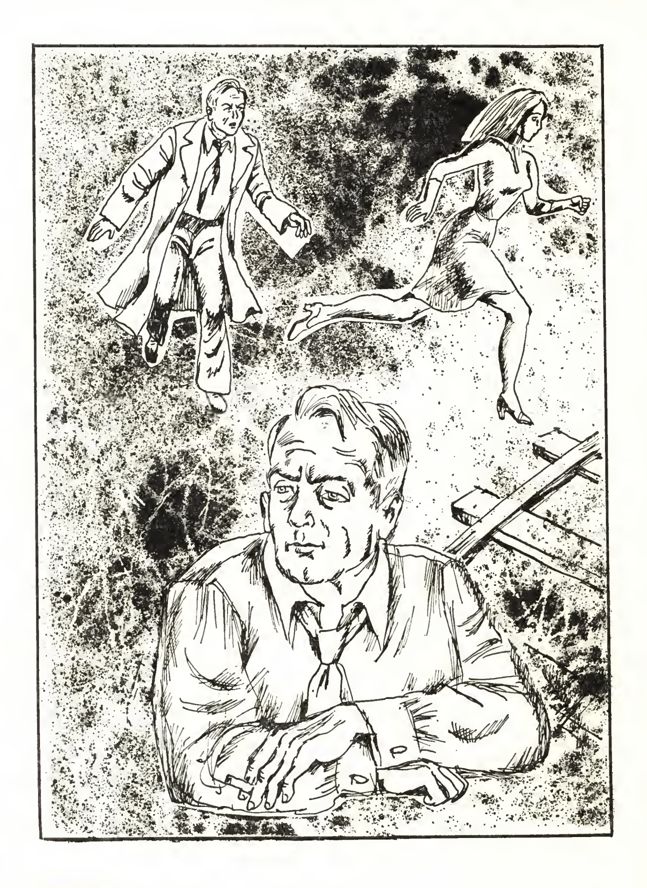
Мать честная! Вот этого Вася никак не ожидал. Почему-то он был уверен, что хозяева коек, которые они с приятелем, тоже шофером, самовольно заняли, вернутся не раньше конца сентября. А за это время Якунин пристроил бы Васю куда-нибудь. Он работал с Якуниным меньше месяца и считал неудобным при всеобщем квартирном кризисе просить у него жилье. Тем более, летом это не вопрос. Люди в постоянных разъездах, забрасываются десанты в глубь тайги, то там, то сям освобождаются койки, на худой конец можно и в машине переспать или в палатке у костерка. Да, затянул он с этим делом: осень на носу, за ней зима лютая, и тут, милый друг, без крыши над головой загнешься. Не вовремя пожаловали эти ребятки, но ничего не поделаешь, они в своем праве.

— Ты где устроился? — спросил он приятеля.

— Будешь смеяться — у девчат. Только помалкивай, комендантша узнает — шкуру сдерет. У них одну в роддом отправили, ну и пока... перебиться.

Вася вздохнул и побрел к бараку, где безмятежно прожил без малого две недели.

На крыльце валялся его вещмешок, его солдатский сидор, что прошел с ним и действительную, и тяжелую камчатскую службу, и усть-илимскую страду, валялся незавязанный — подходи любой и бери, что приглянется. Правда, приглянуться там нечему: пара старых брюк, заношенная курточка из кожзаменителя, две рубашки, трусы, несколько пар носков и вафельное полотенце. Не разжился Вася имуществом, да и к чему оно в его скитальческой жизни? Вася заглянул в мешок, но и так уже видно было, что казенное постельное белье туда не попало. Он опять вздохнул — лучше бы исчезнуть тихо — и, толкнув дверь, вошел в комнату. Сразу пахнуло чужим и скверным: сапогами, грязными портянками, немытым телом и чем еще? Перегаром, что ли? Да, и какой-то парфюмерией. У подоконника, спиной к Васе, брился парень, под майкой-безрукавкой двигались острые лопатки. Вася с безотчетным удовлетворением отметил, что густую мыльную пену парень соскабливает со щек безопасной бритвой. А на постели, которую Вася еще недавно считал своей, развалился здоровенный малый в расклешенных брюках, ковбойке, драных шерстяных носках и курил, сбрасывая пепел за плечо — на подушку и стену. Жизненный опыт подсказал Васе, что он попал



не к лучшим людям современности. Малый на койке — узколобый, с грубым челюстным лицом и узкими щелками глаз — был типичным бичом, а худенький у окна — шкетом при нем.

— Здравия желаю! — вежливо сказал Вася.— Прошу прощения, что воспользовался без спроса вашей койкой, и разрешите забрать постельное белье.

Парень у окна мельком оглянулся и продолжал скоблить прыщеватую щеку, растягивая кожу пальцами. Лежавший на койке не отозвался.

— Белье,— повторил Вася,— оно казенное.

— Видал фраера? — чуть повернувшись в сторону окна, непрокашленным голосом просипел бич.— Захватил чужую койку, напустил вшей и еще разоряется.

— Ваше белье в ящике.— Вася подошел к шкафу и с натугой выдвинул нижний ящик.— Я на нем не спал.

— Заткнись! — сказал бич и погасил сигарету о ночной столик.— Чеши отсюда.

Вася стоял, чуть наклонив к плечу маленькую голову и раздумывая, как же получить казенное белье, без которого он не мог уйти. Своими острыми чертами и хохолком на макушке он походил на взъерошенного воробья, но в школе у него прозвище было другое, не «Воробей», а хуже, обиднее — «Комма», что значит по-немецки запятая. Из-за проклятой привычки склонять голову к плечу. Это придавало Васе жалостный вид, и лежащий на койке амбал презирал его всем своим косматым сердцем. Он не видел ни покато-сильных Васиных плеч, ни длинных рук с тяжелыми, большими кистями, лишь эту желтую, склоненную к плечу головенку и хохолок на макушке, да еще он чуял вывернутыми ноздрями ветерок опрятности — внешней и внутренней, и было это ему хуже отравляющего газа.

— Я уйду,— сказал Вася,— только отдай белье.

— Бери,— усмехнулся бич.

Вася подошел и с силой рванул из-под него простыню. Бич не ожидал этого и чуть не свалился с койки. Но удержался и в следующее мгновение упругим кошачьим прыжком вскочил на ноги.

— Ну, сука, я тебе сделаю! — проговорил он с каким-то наслаждением и медленно, косолапо, левой ногой вперед двинулся на Васю.

И на расстоянии от него несло луком и сивухой. На стройке сухой закон — как умудряются алкаши добывать горючее? Правда, он только сегодня приехал, мог на «большой земле» разжиться. Вася интересовался этим совершенно бескорыстно: он не пил. Он спортом увлекался. Во время своей военной службы, когда свободные часы нечем было занять, он прошел полный курс самбо у старшины — мастера спорта. Он ничуть не боялся бича, даром что тот тяжелее. Он больше опасался, как бы шкет не всадил ему сзади заточенный напильник. Вася, по правде говоря, только напильника и боялся. Нож обычно пускают в ход впрямую, тут и защититься можно, а напильником подкалывают исподтишка, против него человек беззащитен. Но шкет усердно брился, то ли из доверия к боевой мощи старшего друга, то ли по врожденному миролюбию.

— Ох, как я тебе сейчас сделаю! — мечтательно сказал бич.

— Я бью два раза,— сообщил Вася,— раз по башке, другой по крышке гроба.

Они сравнялись в остром чувстве друг к другу, чувстве, похожем на влюбленность, настолько не хотелось им, чтобы их что-нибудь разлучило сейчас. Каждый был полным отрицанием другого: два мира, два отношения к жизни, и возобладай один — другому здесь нечего делать. Но у Васи неприятие бича было шире, философичнее. Сам-то он плевать на него хотел, но ведь сюда приезжают ребята, не изучавшие самбо, не служившие в армии и на Камчатке, зеленые юнцы из Москвы, Ленинграда, Горького и других хороших городов, может, и смелые, мужественные ребятишки, но неумелые и против такого бессильные. Так разжигал себя Вася, мучаясь врожденной болезнью: неспособностью поднять руку на живое, дышащее, мыслящее существо. Правда, бича едва ли можно назвать существом мыслящим, но живым и дышащим он был несомненно, Васю мутило от его смрадного дыхания.

Бич шел, не замечая, как собралось, изготовилось длинное, сухощавое тело противника, напряглись тяжелые руки. И вдруг, хекнув, он рванулся вперед и ударил Васю ногой в пах. Но Вася предугадал подлый и нехитрый выпад и, согнувшись, самортизировал удар, принял ногу бича, как вратарь мяч. Вслед за тем он резко выпрямился, рванул ногу бича вверх и опрокинул его навзничь. Бич грохнулся затылком об пол и прохрипел:

— Наших бьют...

Шкет вскочил с пронзительным шпанским визгом. Пузырьки пены лопались на щеках. Вася надвинул на него обеденный стол и прижал к стене. Шкет завыл, будто от нестерпимой боли, и сполз вниз. Притворяется перед шефом, догадался Вася и потерял к нему интерес. Бич пополз прочь, скуля и хватаясь за голову. Это все тоже было известно, и, когда тот попытался вскочить, Вася перехватил его как бы на взлете — крюком в солнечное сплетение, прямым в челюсть — и для крови — по сопатке. Бич рухнул и скорчился на полу.

Вася забрал свои простыни, наволочку и вышел на улицу. Белье он запихал в сидор, затянул брезентовое горло веревкой, вскинул легкую ношу на плечо и пошел искать пристанище. Коменданта по воскресеньям можно поймать лишь утром, и Васе оставалось надеяться на собственную удачу. Как всегда в исходе августа, рано и быстро смеркалось. Когда он зашел в барак, цвел ясный день, и вот уже вытянулись тени, лиловый окаемок лег по горизонту, порозовело небо на западе, и надо было поспешить с устройством на ночлег.

...Отсморкав кровь, умывшись и надавав по шее предателю-шкету, бич почувствовал тянущую боль и тяжесть в животе, хотя за весь день ничего не ел, только выпил в поезде самогону. Видать, этот длиннорукий гад что-то нарушил в его организме. Из самолюбия бич долго сопротивлялся позывам, но в конце концов был вынужден отправиться на двор. Ломило ушибленный затылок, кровь заклеила нос, и дышать он мог только ртом, левый угол челюсти онемел, будто эфиром помазали. Бича часто били, и он бил, не придавая особого значения ни полученным, ни нанесенным побоям. Это входило в существо той жизни, какой, по мнению бича, только и стоит жить настоящему мужчине. Но сегодня все получилось паскудно: его поуродовали не численно превосходящие противники, что было бы законно, а один на один худой, долговязый фраер. Нет, конечно, он не был фраером, это зря, парень тертый и приемы знает. С телерешними вообще надо держать ухо востро: с виду доходяга, а сам мастер спорта по какой-нибудь дзюде... Но ему-то нельзя было так попадаться. И шкет, сука, в руках же лезвие было!.. Промахнулись они с этой стройкой, не будет тут жизни. Сухой закон, анашу ни за какие деньги не достать, и еще дерутся. А работу требуют, как с идейного. Надо рвать когти, вопрос только куда. И кто поручится, что на Зее, скажем, будет лучше? Обидно, тоскливо и горестно было бичу, хоть в голос вой! Он зашел в дощатый домик, освещенный пятнадцатисвечовой лампочкой, и, пристроившись, стал



привычно шарить глазами по клинописи, испещрившей стены уборной снизу доверху. Кое-кто упражнялся в нехитрой прозе, но больше было стихов, коротких, в две строчки, и таких длинных, что дочитать лень. И вдруг что-то толкнуло бича в сердце, сбив с нормального стука. Он взял валявшийся на полу огрызок чернильного карандаша и крупными буквами написал на стене: «В глаз тому, кто злит шпану!»

Прочитал вслух и сам себе не поверил, до чего складно и звонко прозвучало. Обвел рамкой свое стихотворение, чтобы не путали с мараньем других рифмоплетов.

Он вышел из будки. Совсем смерклось, и в темном небе проступили желто поблескивающие точки. Что это?.. И вдруг вспомнил — звезды...

...Вася уныло тащился со своим мешком по главной улице поселка. Попытки устроиться хотя бы на ночь ни к чему не привели. Как нарочно, вернулись все десантники, все поисковики, все больные вышли из больниц, понаехали новенькие, свободных коек в наличии не имелось. Конечно, было одно место — в вагончике Якунина, ведь он остался в Хоготе, но Вася и подумать не мог о таком кощунственном посягательстве. И даже не из-за Якунина, тот слова бы не сказал, а и сказал бы — невелика беда. Но там, за ситцевой занавеской, спала Люда, и ее обиталище нельзя превращать в ночлежку для бездомных кретинов. И то, что рядом с ней помещались два мужика, якунинские замы, положения не меняло. Им небось все равно: кашлять, зевать, храпеть, хрюкать, ворочаться, бегать в подштанниках на двор, когда рядом творится слабый сон Люды; а он убил бы в себе сердце, если б оно своим стуком мешало Люде спать. И вообще — исключено!..

Но так дальше жить нельзя. Пора браться за ум. Ночи уже холодные, скоро ветры задуют, и сразу ударят морозы. У распоследнего бича, готового в любой момент рвануть со строительства, есть койка, а у него, который будет тут до конца, нет своего угла. Кочуй, как цыган, с места на место — смешно даже! Ему и впрямь стало смешно, и он громко запел на пустынной улице простуженным голосом, но с хорошим слухом:

Привык я греться у чужого огня,
Но где же сердце, что полюбит меня...

— Вот оно! — послышался за спиной знакомый голос.—Вот сердце, готовое тебя пылко полюбить.— И грустный весельчак Пенкин предстал перед ним.

— Почему с мешком? — поинтересовался Пенкин.

— Переезжаю,— свободно ответил Вася.

— Куда?

— Спроси о чем-нибудь попроще.

— Ну и тип! — не то удивился, не то восхитился Пенкин.— Ты же из старожилов?

— Если «старожил» от «жилья», то нет,— сострил Вася.

— Сколько ты сегодня километров намахал?

— Какая сегодня езда!.. Шестьсот пятьдесят.

— Ну, это чепуха! Особенно по таким чудесным дорогам. Хочешь еще триста сделать?

— А что?

— Южная привычка — вопросом на вопрос... Мне надо к поисковикам в Дуплово. Обещал давно, а все времени не выкроить. Сегодня пришла депеша: ребята очумели от скуки, требуют книг, журналов и живого человеческого слова. Библиотечку им Люда давно подобрала, я и решил махнуть. А машина, сам знаешь, в ремонте.

Предложение Пенкина снимало все проблемы, во всяком случае, на сегодня. Не надо искать пристанище, унижаться. Да и приятно отвезти ребятам библиотечку, подобранную Людой. Но следовало уточнить кое-какие детали.

— Бензин? — строго спросил Вася.

Пенкин вынул из кармана куртки пачку талонов.

— Когда назад? Мне к одиннадцати утра в Хогот.

— Красота! Из Дуплова до Хогота меньше двухсот. Диспозиция боя: мы заезжаем за книгами, грузимся и — в Дуплово. За три часа домчимся. Шучу, шучу, за пять часов. Ночуем. Утром проводим беседу и в восемь ноль-ноль выезжаем в Хогот. Все в ажуре, да еще с запасом.

— Заметано!

— Хороший ты парень,— душевно сказал Пенкин.— Но больно ломучий. Тебя уговорить — легче гору своротить.

— Как с харчами? — спросил Вася.

Пенкин показал на свой плоский черный чемоданчик, который он называл почему-то «Джеймс Бонд».

— Корейка, баночка куриного паштета, колбаса языковая, хлеб обдирный — устраивает? И банка джуса.

Разговаривая, они подошли к вагончику Якунина, возле которого Вася оставил машину. Штаб Пенкина располагался неподалеку. Погрузив книги, они поехали на заправочную станцию и вдруг увидели медленно бредущую к своему дому Люду. Вася свернул к тротуару и впаял машину в щербатый асфальт впритык к Люде.

— Ничего себе, проведала подружек!.. Ну, как они?..

— Видишь — не съели.

— Молодец! — сказал Пенкин.— Поехали с нами.

— Куда?

— В Дуплово. Там ребятки совсем закисли. Читать разучились, разговаривать перестали, до того осточертели друг другу. Махнем?

— Если бы раньше знать! У меня работа не сделана.

— Досадно!.. Ты чего там?..— обернулся он к Васе.

Тот захлопнул крышку «Джеймса Бонда» и протянул Люде баночку паштета.

— Держи, салага! А то опять голодная ляжешь.

— Ого!.. Красиво живете.

— Колбасы хочешь? — злясь на себя за недогадливость, предложил Пенкин.— Языковая.

— Спасибо. Не люблю.

— Ну, мы поехали. Время позднее, а нам еще заправиться надо. Привет.

Люда помахала им вслед рукой. Почему она постеснялась сказать им, своим друзьям, о том неожиданном, щемяще радостном и странном, что произошло сегодня в женском общежитии? Она пришла туда уже не в первый раз, и, как обычно, ее встретили настороженно, холодновато и смущенно. Замолк оживленный разговор, сгрудившиеся у стола девчата разошлись по койкам. Зашуршали страницы журналов, извлекались из сумочек тушь для ресниц и губная помада, поплыл сигаретный дымок. Закурила и Люда, подсев к раздвижному столу, за которым и чаевничали, и харчевались, и письма писали, и всякой штопкой, починкой занимались, и готовили свои бесконечные контрольные заочницы техникумов и вузов. Люда о чем-то спрашивала, ни к кому персонально не обращаясь, ей отвечали—чаще всего мягкая, жалостливая Лерка, иногда и другие девчата. Рыжая Вера, ударившая ее по лицу в тот памятный вечер, конечно, молчала. Просто молчала, без вызова или презрения. И наступали сумерки, но электричества почему-то не зажигали, вроде бы в темноте стало проще, удобнее, даже вялый разговор завязался. Печальный синий свет вползал в комнату, растворяя в себе лица и фигуры валявшихся на койках

девчат. Пора было уходить, но она все медлила, будто чего-то ждала, хотя на самом деле ничего не ждала, просто впала в какое-то оцепенение, когда нет сил изменить раз выбранную позу, рукой пошевелить. И тут красивая Ксана Гнатенко, зевнув с подвывом, сказала лениво: «Тоска зеленая!.. Хоть бы ты спела, Людка». Еще не очень понимая значение сказанного, Люда ответила машинально: «Как же без гитары?» — «А я сбегаю!» — предложила Лерка. И тут Вера вскочила с койки и выбежала из комнаты. «В другой раз, девочки,— сказала Люда.— Гитара у Пенкина»,— и, погасив сигарету, тоже вышла. А на улице позвала тихо: «Вера, Вера!» Никто не откликнулся, хотя Люда чувствовала кожей, что та где-то неподалеку. «Верка!» — крикнула она громче, но ответа не было, и она пошла домой. Вот все, что случилось. Вроде бы ничего особенного, а у нее засочилось сердце... И может быть, хорошо, что она ничего не сказала Пенкину и Васе. Зачем? Это дело ее и девочек, и так ее личная жизнь стала слишком широко известна.

Оставить хоть что-то про себя. Довольно советов и поучений. Ну, Вася с советами, может, и не полезет, а уж Пенкин не удержится от наставлений. Хороший парень, только чересчур нацеленный, хотя в этом-то его обаяние. Он действительно знает, как надо поступать. А люди либо растеряны перед жизнью, либо берут ложный след и даже иногда правильные поступки совершают, исходя из неверных предпосылок. Вот Якунин убежден, что она под поезд броситься хотела, как Анна Каренина. А она об одном лишь думала: прочь, прочь отсюда, любой ценой прочь. Уехать она хотела, куда, зачем — не важно; она убежала в одном платье, без копейки денег, но в ту минуту это ничего не значило. Уехать, проложить между собой и этим миром, сперва сделавшим ее счастливой, а потом оплевавшим, тысячи и тысячи километров — ни о чем ином не было мыслей. Она могла попасть под колеса, нарваться на нож или что похуже, могла погибнуть, но она не Анна Каренина. Якунин все еще от смерти ее спасает, отсюда его слепая ненависть к пению, гитаре, ко всему, что, по его мнению, привело ее на край. Он хороший, Якунин, интересный, значительный, но если бы она могла избавиться от благодарности, а заодно и от уважения к нему, ей стало бы легче...

«...Она будет петь!» — думал Пенкин, отвалившись в угол на переднем сиденье, пока Вася заправлял баки и канистры. С той минуты, что они расстались, он не переставал думать о Люде. Будет петь, потому что это главное. У нее талант, настоящий талант. Кто-то из старых писателей сетовал на легкость, с какой русские люди дают погаснуть божьей искре в своей душе. С этим пора кончать. Смысл нашего общества в том, чтобы каждый становился самим собой, осуществлял себя до конца. Тем более на БАМе. Это строительство — не чета прежним, даже самым великим. Для многих и лучших тут начнется и кончится молодость. Проворонить такую вот Люду — преступление, за него надо судить, как за взрыв на заводе с человеческими жертвами. Делать то, что делают ее подруги, что делала она сама, когда Якунин послал ее замаливать грехи — прекрасный спектакль и победу на фестивале,— может каждый, а вы спойте, как она, дорогие товарищи! Да еще перед тем, как спеть, сочините песню. Может, о нас всех вспомнят только потому, что мы ее знали. Пусть ты малость перегнул, не беда — чтобы понять сложное явление, надо действовать по-артиллерийски: перелет, недолет, по цели! Да и не в этом дело. Бой идет не ради славы, ради жизни на земле. А свой певец нужен БАМу — поверьте, товарищи,— ничуть не меньше, чем хороший штукатур, плотник или маляр.

Девчата законно рассвирепели — кому хочется признать право другого на особую судьбу? Все было естественно, жизненно и пусть жестоко, но справедливо. Беда в том, что у одних пощечина горит на щеке, а другим прожигает сердце. И все-таки при всей чувствительности и кажущейся хрупкости истинно художественной натуры Люда — выносливый и сильный человек. Якунин ничего не понял, бегство принял черт знает за что. Он и сейчас прячет от нее веревку, хотя Люда вся нацелена на жизнь.

Пенкин не был на стройке, когда с Людой случилась беда, и никогда бы не унизился до того, чтобы выспрашивать об этом у других, собирать сплетни. Но из комсомольского руководства людей берут на самую сложную и тонкую работу: в дипломатию, в милицию, в органы государственной безопасности. И Пенкин считал для себя обязательным доходить в каждом интересующем его деле до основы. И по мере того, как он последовательно «ковал неумолимую цепь логики», он все сильнее убеждался, что эстафету спасения давно пора не то чтобы принять из рук Якунина, а отобрать силой. Из полезного Люде человека Якунин превратился во вредного, мешающего ее полному выздоровлению. Обо всем этом Пенкин думал уже не раз, но сегодня впервые пошел чуть дальше в своих размышлениях: откуда у немолодого, опытного и умного человека такая слепота? Он давно уже решил про себя, что Якунин с его зашоренным зрением, устремленным только вперед и неспособным к огляду, суживает цель, не постигая, что тут строится не только железная дорога, а и че-ло-век. Чуть не целое поколение будет взращено БАМом, духом БАМа, это распространяется и на тех, кто не принимает прямого участия в строительстве. Якунин поклоняется технике, «деланию», презирает «беллетристику», куда зачисляет все причастное гуманитарному началу. Но слепота к Люде не может быть объяснена только его жизненной философией, тут что-то глубоко личное. Просто-напросто он влюблен в эту девочку и хочет сохранить ее при себе...

И, придя к такому выводу, Пенкин погрустнел. Чужое сильное чувство всегда пробуждает какую-то завистливую печаль. Пусть даже чувство это не увенчано взаимностью, оно само по себе принадлежит высшей жизни. «Бедный Якунин!..» — думал Пенкин, но жалел самого себя. И тут, едко воняя бензином, в машину забрался Вася. Они тронулись, и мимо замелькали бараки и домишки поселка, кирпичные корпуса новостроек, подъемные краны на строительных площадках, пустырьки.

— Ну и несет от тебя,— заметил Пенкин.— Закурить-то можно, или мы вспыхнем алым пламенем?

— Там шланг худой... Кури! — Вася достал пачку сигарет, протянул Пенкину и щелкнул зажигалкой. Потом закурил сам и чуть приспустил боковое стекло. Машина вырвалась из поселка, в сильном свете фар легла грунтовая дорога в реющем тумане, то заволакивающем даль, то приникающем к земле. Дорога казалась гладкой, но машину сильно кидало.

— Что бы с нами Люда ехала, а, Васек?

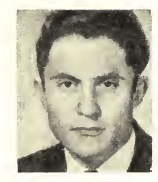
— Ну!..— радостно откликнулся Вася.

Недаром из комсомола берут на самую тонкую работу: в дипломатию, милицию, госбезопасность; Пенкин мог чего-то не замечать, только если не фокусировал зрения, но стоило сосредоточиться, и ему открывалась скрытая суть людей и явлений. «И этот влип! — ахнул Пенкин.— Ну, Люда, ну, девчонка!»

— А еще лучше, чтобы Людочка и Васенька ехали, а Пенкин пешком топал! — подчиняясь чему-то злому в себе, сказал он.

Абдулла Даганов





Дельфины

Из Гагры в Пицунду — по морю!
И море в ладонях моих,
И море летит надо мною
В сверканьи радуг цветных.
В ладонях смеющейся Нади
Колючие капли блестят,
И чайки — по борту и сзади —
За нами вдогонку летят.
Мы в шуме и в песне едины,
На катер пришедшие врозь.
«Товарищи, справа дельфины!» —
Из рупора вдруг донеслось.
И к борту, подобьем прибоя,
Скатилась людская волна:
Дельфины нас звали с собою,
Чтоб радость изведать сполна!
Ах, умницы вы озорные!
Над морем — веселья костры!
Я буду их помнить отныне,
Как лучшие в жизни дары.
И солнце на выгнутых спинах
Слепило глаза — не забудь!
И песнь о веселых дельфинах,
Как счастье, наполнила грудь.

Перевел с аварского
О. ДМИТРИЕВ

Осенний дождь

Из черных туч, лохматых туч
Угрюмый дождь идет, идет.
С домов села, с отвесных круч
Летит поток осенних вод.
Холодный дождь, осенний дождь
Мешает с грязью листьев медь,
С размаху хлещет, словно плеть,
Стволы нагих и мокрых рощ;
Тяжелый, серый, как свинец,
Он в горы падает и там
Сдирает с троп следы овец,
Откочевавших на кутан [1].
Кто там, на выдумки горазд,
Придумал трюк, решил: пора! —
И о скалу хватил в горах
Кувшин огромный, как гора!
Какой порыв, какая мощь
В воде, бегущей по земле!
Развей, размой, осенний дождь,
Тоску о лете и тепле!

Перевел В. АФАНАСЬЕВ

[1] Кутан — загон для овец (т ю р к.).

Вася кинул на него короткий, холодный взгляд.

— Знаешь... Отдыхай.

— Правда твоя,— покладисто согласился Пенкин, он уже овладел собой.— Если будем тонуть, разбуди.— Откинулся на сиденье, смежил веки с чуть подрагивающими кончиками ненужно длинных, загнутых ресниц...

Люда закончила работу, завязала тесемки папок и погасила настольную лампу. Теперь въедливый Погребов не страшен ее начальнику. Заместители Якунина давно спали, дыша со свистом и клекотом. Якунин выбрал себе замов в своем вкусе: немолодых, спокойных, исполнительных служак, которые не хватали звезд с неба, но и не занимались ни прожектерством, ни очковтирательством. Два старых тяжеловоза — рысью не пойдут, но любой груз доставят по назначению и в срок. Они много работали, уставали, никуда не ходили и рано заваливались спать. Удобные соседи, конечно, но жизнь вблизи них переставала казаться чудом и тайной.

Люда вышла на крыльцо и присела на ступеньку. Закурила. Ставший привычным и желанным дымок показался ей горек. Она брезгливо отшвырнула сигарету. Красный огонек, описав дугу, с шипением погас в луже. Ровно, низко и протяжно гудели деревья. В затишке не ощущался ветер, но им была напряжена ночь. Ну и пусть ветер, пусть осень, зима — прежнее оживало, и хоть это лишь тень радости, что пела в ней раньше, разве думала она, что радость когда-нибудь вернется? И вот тень радости уже протянулась к ее порогу, и кого за это благодарить? О, многих! И прежде всего того, кто не ждет никакой благодарности, не нуждается ни в награде, ни в поощрении, ни в признании своих заслуг, кто не судил и не оценивал, просто верил, наивно и свято верил, что лучше ее нет на свете. Лишь в одних глазах оставалась она всегда безупречна, и на эту удивительную, незаслуженную веру оперлась ее душа и выстояла. Она крикнула в темноту своим ломким голосом:

— Вася, чуешь?..

...Вася вздрогнул, пальцы сильнее вцепились в баранку. Уж не задремал ли он, убаюканный маятниковым движением дворника, выписывающего сегменты на покрытом изморосью лобовом стекле? Он искоса глянул на Пенкина, тот спал каким-то очумело-беззащитным сном. Вася еще опустил боковое стекло, черный ветер с воем несся навстречу машине. Он выждал и на самый гребень порыва уложил свой короткий ответ:

— Чую!..

— Чего орешь? — мгновенно проснулся бдительный Пенкин.

— Тебе приснилось. Отдыхай.

— Я сплю, а все слышу. Почему не говоришь? Тайна?

— Тебе не понять, хоть ты всего Карла Маркса прочел.

— А ты попробуй.

— Отдыхай, дорогой. Ты сам не знаешь, как ты устал...

Юлия Друнина



ДЕТИ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА

«Мы были дети 1812 года».
Матвей Муравьев-Апостол

Тринадцатое июля[1]

Зловещая серость рассвета...
С героев Бородина
Срывают и жгут эполеты,
Бросают в огонь ордена!
И смотрит Волконский устало
На знамя родного полка.
Он стал в двадцать пять генералом,
Он все потерял к сорока...
Бессильная ярость рассвета.
С героев Бородина
Срывают и жгут эполеты,
Швыряют в костер ордена!
И даже воинственный пристав
Отводит от виселиц взгляд.
В России казнят декабристов,
Свободу и Совесть казнят!
Ах, царь милосердие дарит:
Меняет на каторгу смерть...
Восславьте же все государя
И будьте разумнее впредь!
Но тем, Пятерым, нет пощады,
На фоне зари — эшафот...
«Ну что же, жалеть нас не надо,
Знал каждый, на что он идет».
Палач проверяет петли,
Стучит барабан, и вот
Уходит в бессмертие Пестель,
Каховского час настает...
Рассвет петербургский тлеет,
Гроза громыхает вдали...
О, боже! Сорвался Рылеев —
Надежной петли не нашли!
О боже! Собрав все силы,
Насмешливо он хрипит:
«Повесить — и то в России
Не могут как следует! Стыд!»
...Предутренний, серебристый,
Прозрачный мой Ленинград!
На площади Декабристов
Еще фонари горят.
А ветер с Невы неистов,
Проносится вихрем он
По площади Декабристов,
По улицам их имен...

[1] В этот день повесили пять декабристов и свершили обряд гражданской казни над остальными.

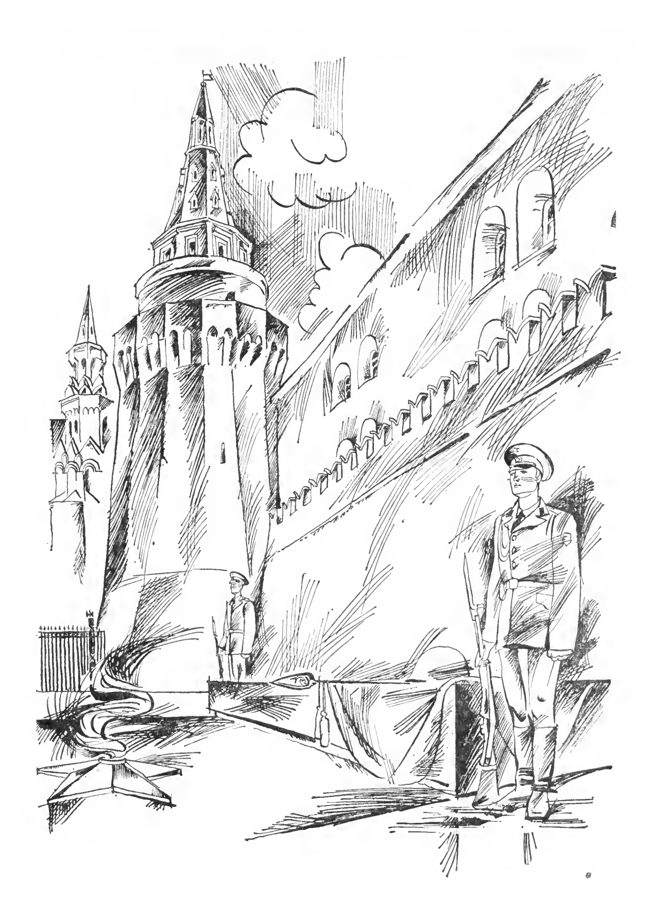
Сергей Муравьев-Апостол

Дитя двенадцатого года:
В шестнадцать лет — Бородино!
Хмель заграничного похода,
Освобожденья вино.
«За храбрость» — золотая шпага,
Чин капитана, ордена.
Была военная отвага
С гражданской в нем обручена:
С царями воевать не просто!
(К тому же вряд ли будет толк...)
Гвардеец Муравьев-Апостол
На плац мятежный вывел полк!
«Не для того мы шли под ядра,
И кровь несла Березина,
Чтоб рабства и холопства ядом
Была отравлена страна!
Зачем дошли мы до Парижа,
Зачем разбили вражий стан!..»
Вновь победителем вас вижу,
Мой капитан, мой капитан!
Гремит полков российских поступь,
И впереди гвардейских рот
Восходит Муравьев-Апостол...
На эшафот!

Ялуторовск

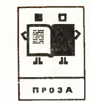
Эвакуации тоскливый ад —
В Сибирь я вместо армии попала.
Ялуторовский райвоенкомат —
В тот городок я топала по шпалам.
Брела пешком из доброго села,
Что нас, детей и женщин приютило.
Метель осатанелая мела,
И ветер хвастал ураганной силой.
Шла двадцать верст туда,
И двадцать верст назад —
Ведь все составы пролетали мимо.
Брала я штурмом тот военкомат —
Пусть неумело, но неумолимо.
Я знала — буду на передовой,
Хоть мне твердили: «Подрасти сначала!»
И военком седою головой
Покачивал: «Как банный лист пристала!»
И ничего не знала я тогда
О городишке этом неказистом.
Ялуторовск — таежная звезда,
Опальная столица декабристов!
Я видела один военкомат —
Свой «дот»,
Что взять упорным штурмом надо,
И не заметила фруктовый сад —
Веселый сад с тайгою хмурой рядом.
Как так! Мороз в Ялуторовске крут,
И лето долго держится едва ли,
А все-таки здесь яблони цветут —
Те яблони, что ссыльные сажали!

Я снова тут, пройдя сквозь строй годов,
И некуда от странной мысли деться:
Должно быть, в сердцевинах тех стволов
Стучат сердца, стучит России сердце.
Оно, конечно, билось и тогда
(Хотя его и слыхом не слыхала),
Когда мои пылали города,
А я считала валенками шпалы.
Кто вел меня тогда в военкомат,
Чья пела кровь и чьи взывали гены!..
Прапрадеды в земле Сибири спят,
Пред ними преклоняю я колена.



Виктор
СТЕПАНОВ





РОТА ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА

ПОВЕСТЬ

Рисунки
В. СКРЫЛЕВА.

I

Из ворот Кутафьей башни Кремля они вышли без четверти восемь — первая смена почетного караула у Могилы Неизвестного солдата. Впереди шел Андрей, ему в затылок — Сарычев, слева — разводящий сержант Матюшин. Они повернули направо, в предупредительно кем-то уже открытую железную калитку, и, стараясь ровнее держать карабины, начали спускаться по гранитным ступеням вниз смягченным, как по ковру, шагом.

В Александровском саду вовсю хлопотала весна. Словно торопясь к празднику, она примеряла лучшие свои наряды и, красуясь, радовалась сейчас прозрачному и звонкому утру, уже розовато согретому по вершинам аллей, но еще сумеречно прохладному внизу, на влажных дорожках.

Вековые липы и вязы расправляли корявые сучья, льнули к замшелой стене, являя чудо вешнего воскрешения,— на иссохших было ветвях опять зеленели побеги; деревья помоложе трепетали сыроватой, только что проклюнувшейся листвой, в которой вызванивали птичьи голоса; розовато-белым нетающим снежком то тут, то там успела посыпать вишня; а на газонах и клумбах давали свой бал цветы.

Ровными рядами пунцово пламенели похожие на маленькие факелы тюльпаны; как бы зажженными от них синими огоньками переливались под набегавшим ветерком какие-то другие, незнакомые цветы; с ними соперничали желтые, похожие на морские звезды; и словно щедрой рукой разбросанные, жемчужно блестели в траве маргаритки.

Остро пахло свежескошенной травой — пряным запахом лесной поляны. Березы и впрямь толпились невдалеке, совсем по-деревенски, робея перейти гранитную дорожку, что отделяла их от пышного празднества деревьев и цветов.

Даже столичные жители — сине-голубые ели — жались к древней стене, стесняясь выйти из шеренги в это всеобщее веселье; лишь пошевеливали острыми, как шишаки буденовок, верхушками, разомлев под солнцем, которое сияло уже так высоко и горячо, что с ослепительных, жарко пылающих куполов соборов, казалось, вот-вот начнет падать золотая капель.

Но Андрей ничего этого не видел.

Выдерживая шаг по Матюшину, словно был к нему привязан, Андрей, как только ступили на пронзившую сад гранитную дорожку, все старался проникнуть взглядом в ее конец, туда, где уже угадывался над мраморным горизонтом порывистый всплеск пламени.

И чем пристальнее всматривался он в мельтешащий вдалеке огонек, чем ближе подходил к нему, тем тревожнее и тягостнее делалось на душе — порой ему казалось, будто, кого-то маня, трепещущая ладонь с быстрыми, гибкими пальцами возникала и пряталась за гранитным возвышением.

Огонь приближался.

Стиснув онемевшими пальцами приклад карабина, Андрей с секунды на секунду ожидал команду. Он знал, что и Матюшин эти секунды уже отсчитывает, и позавидовал его поразительному чутью ко времени: сержант только мельком взглянул на часы, когда выходили из караульного помещения, но сейчас в нем завелась и пошла ходить по кругу секундная стрелка, которая высчитывает время до каждого мгновения, до каждого шага и поворота, ибо вся сложная, непостижимая для штатского человека премудрость подобного исчисления сводилась к тому, чтобы встать у Вечного огня ровно в восемь. «Тик в тик»,— как говорил лейтенант Гориков.

Эта секунда отсчета, как ее ни ожидал, ни ловил Андрей, упала неожиданно, коротким выдохом команды:

— Пошел...

Матюшин почти прошептал это слово — за восемь высчитанных им метров до Могилы Андрей сделал полный шаг, Сарычев свой шаг «подсек», укоротил, и сержант очутился между ними.

— Смена, стой!

Секунды опять замедлились — справа полыхнул над нишей Огонь. По обеим его сторонам они и должны были сейчас встать.

«Чок!» — властно высек приклад, и Андрей мгновенно, по выработанной привычке ощутил, как то же самое, что и он, проделал одновременно с ним Сарычев, и это ощущение близнецовской слитности с товарищем, шагнувшим на ступеньку, расковало и придало уверенности: в ногу, сначала шелестящим, как бы осторожным шагом они поднялись на возвышение и, уже в полную силу чеканя по мрамору, пошли на свои места к разделявшему их пилону, на зеркальной плоскости которого лежала, будто только что снятая, солдатская каска. Рубиновыми огоньками брызнула в глаза росинка, дрогнувшая на каске у самой звезды.

Еще карабинное «чок!» — сигнал к повороту «кругом!». Андрей повернулся лицом к площади и замер. Далеко-далеко, не верилось, что в каких-то десяти шагах, стоял теперь одинокий Матюшин, такой картинно-красивый, вытюженный, до каждой пуговицы начищенный, в фуражке с перечеркивающим лоб красным околышем, с затейливо перевитыми по правой стороне мундира серебряными шнурами аксельбантов, что можно было подумать, будто здесь его поставили специально, для наглядности.

Но Матюшин задержался не для красы. Андрей перехватил придирчивый взгляд, прицельно переведенный с него на Сарычева и обратно, и подобрался, подтянулся — перед уходом сержант хотел убедиться, хорошо ли стоят часовые.

Наверное, все было хорошо, точно, по уставу, потому что, постояв еще с минуту, Матюшин ушел тем же строевым шагом, каким привел их сюда, как будто команды теперь подавал не он сам себе, а другой, невидимо шагающий рядом с ним сержант. Он уходил, поблескивая штыком карабина, все уменьшаясь и уменьшаясь к концу дорожки, и издалека четкий шаг Матюшина можно было принять за стук метронома, словно под Кремлевской стеной пустили часы, отмерявшие время вот этими маятниковыми движениями черных, лаково сияющих, отражающих каждую травинку сапог.

Андрей перевел дух, глянул вниз: на кромке ниши, на мраморном уступе уже лежали вроде бы чуть-чуть подпаленные струящимся снизу, из бронзовой звезды пламенем две грозди сирени и букетик незабудок.

Это было удивительно — ведь ворота еще не открывались, еще никто не мог сюда прийти. Но сержант был прав: первая смена, заступавшая в караул в восемь ноль-ноль, всегда заставала принесенные кем-то цветы. Кто-то приходил сюда раньше, а кто — неизвестно. Даже милиционеры, всю ночь дежурившие возле Александровского сада, пожимали плечами. Ворота отворяли ровно в восемь, но не было случая, чтобы к этому времени на мраморном уступе, рядом с Вечным огнем, не лежали цветы. Как будто невидимки проникали сквозь чугунную ограду, торопясь к началу караула.

Странная мысль пришла Андрею, мысль о цветах, о том, что одни и те же, они очень разные — на могиле и на праздничном столе.

Ветка сирени сверху пожухла, закурчавилась, но еще жила, дышала, а незабудки сникли, едва голубели уже редкими, непоблекшими звездочками — все-таки вблизи Огня им было жарко. И, глядя на увядающий букетик, Андрей вдруг вспомнил о главном, чем жил со вчерашнего вечера, с того момента, когда его имя было объявлено в списке почетного караула у Могилы Неизвестного солдата. Он забыл, не мог думать об этом главном, пока шел сюда, пока встал у Огня, и сейчас обрадовался вновь обретенному чувству, чувству ожидания встречи, которая вот-вот должна была произойти.

«Сейчас рядом с незабудками он положит букетик своих любимых подснежников,— загадал Андрей.— А она принесет тюльпаны...».

Но главное было не в том, кто с какими цветами придет. Смысл ожидаемой радости сводился к тому, что эти двое увидят его, Андрея Звягина, во всей парадной форме стоящим возле Вечного огня. «Пусть сам убедится, пусть знает наших,— подумал Андрей, предвкушая сюрприз.— Кого-нибудь на этот пост не поставят... А она... Она ведь никогда не видела меня таким...». Андрей хотел сказать «красивым».

Он расправил плечи, вдохнул полной грудью и взглянул прямо перед собой.

За чугунной оградой шумела Москва. Мимо Александровского сада, обтекая его полукругом, проносились легковые машины, но, поравнявшись с тем местом, откуда уже был виден трепещущий над мраморным возвышением Огонь, они учтиво сдерживали бег. Прохожие с любопытством поглядывали за ограду, как будто хотели убедиться, выставле-

ны ли часовые, и, увидев двоих, стоящих навытяжку, решительнее сворачивали к воротам.

Андрей перевел взгляд на пламя, пульсирующее над прокаленной звездой,— Огонь то распускался, дрожа побледневшими языками, то вновь наливался красным, пурпурным, сжимался, закручивался внутрь.

«Если долго смотреть в Огонь, то можно увидеть в нем все, что захочешь,— вспомнил он не то прочитанное, не то услышанное где-то.— Кажется, лейтенант Гориков рассказывал, будто бы все, кто приходит сюда, видят в пламени лица погибших».

Но в зыбком, вскипающем, как бы гаснущем и вновь оживающем пламени Андрей, как ни напрягал воображение, не мог выстроить хоть какую-то осмысленную картину. В огнистых переливах и завитках он хотел представить лицо того, кто, возможно, лежал под этой звездой. Он помнил ту фотографию наизусть — до закрученных вопросиками бровей, до затаенной в уголках губ улыбки, до ямочки на подбородке, что выглядела совсем, как глазок на картофелине. Выразительнее всего на фотокарточке получились глаза — с такими четкими, живыми зрачками, что казалось, сохранив свой живой блеск, они смотрят с другой стороны, сквозь фотобумагу. Солдат словно бы подмигивал. Кто-то даже сравнил эти глаза со светом умерших звезд... Кажется, Настя... Да, она.

Нет, в извивах пламени терялось, как будто сгорало даже это, почти знакомое лицо. Огонь для Андрея оставался всего лишь огнем.

«Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен...» — прочитал Андрей медленно: бронзовые буквы читались отсюда наоборот. Тридцать семь букв... «Имя твое неизвестно...» Но почему, почему неизвестно?

Где-то Андрей читал, не то в кино видел: пополнение прибыло за десять минут до боя — не успели записать фамилий. «По порядку номеров рассчитайсь!» «Первый, второй... тридцатый...». И — в атаку, фамилии выясняли потом.

А теперь красные следопыты ищут, ищут... На сколько лет им работы? Наверное, хватит их детям и внукам.

Черная, с антрацитовыми блестками плита была безмолвна. Ветер чуть тронул ветку сирени, как будто взъерошил перья, и Андрей опять подумал о тех, кого ожидал.

«Почему не открывают ворота? Они, наверное, здесь... Они подойдут первыми, и я скажу им, скажу все...».

Он совсем забыл, что ничего не сможет им сказать: часовым на посту разговаривать не положено.

Андрей покосился вправо: створки тяжелых чугунных ворот медленно расходились, поблескивая золочеными наконечниками.

«Наконец-то!» — обрадовался Андрей.

Но толпа, хлынувшая было в ворота, замялась, запнулась, кто-то ее остановил.

Напротив, в конце дорожки, зашевелился, полыхнув алыми лентами, большой венок. За ним Андрей различил военных в золотистых фуражках и в брюках с красными и голубыми лампасами.

Венок поплыл прямо на него, покачиваясь, словно живой. И уже можно было различить сопровождающих — стараясь выдерживать ровность шеренг, неторопливым шагом к Огню приближался примерно взвод маршалов и генералов.

Андрей подтянулся, выпрямился, как бы прибавляясь в росте, напружинился и стоял теперь, пытаясь даже не мигать. Что-то непривычное было в этом шествии: обычно солдаты подходят к начальникам, а эти сами подходили к солдатам.

Стараясь попадать в ногу, маршалы и генералы поднялись по ступенькам, остановились, и на зеркально-черных сапогах первой шеренги ало отразились, заиграли блики Огня. В середине этой шеренги, искрящейся золотом погон, козырьков и пуговиц, Андрей увидел и сразу узнал министра обороны. Маршал смотрел на него. Но не тем придирчивым взглядом начальника, старшего по званию, который норовит подметить какой-нибудь непорядок, в лице министра Андрей уловил оттенок любопытства и доброты.

Как по команде, никем не произнесенной, но одновременно услышанной, маршалы и генералы приложили руки к козырькам фуражек и с минуту так постояли, вроде бы все вместе и каждый по отдельности, отдавая честь.

Министр обороны задумчиво смотрел Андрею в глаза. «А ведь это он мне отдает честь, мне...» — мелькнула стыдливая мысль, и, залившись краской, Андрей не выдержал взгляда, потупился, одеревенел. И уже не видел, а только почувствовал, как опять, будто по команде повернувшись, маршалы и генералы сбивчивым строем пошли по дорожке обратно.

Гулко стучало в висках. Едва уловимым движением — незаметным постороннему — Андрей переступил с ноги на ногу и снова выпрямился. Военные были уже далеко. И в тот момент, когда в распахнутые ворота вплыл новый венок, откуда-то, не то сверху, не то снизу, раздались повторенные всем Александровским садом густые звуки хорала. Им ответили деревья и древние стены. Тоскующий и молящий о чем-то женский голос вплелся в эту могучую песнь, вырвался из нее, взметнулся, воспарил над садом, и у Андрея перехватило дыхание. Сразу обмякли, ослабли колени...

Он стоял один на один с Вечным огнем. Почему он? Почему именно он?

Было утро 9 мая...

2

Когда это началось? Вчера? Неужели полтора года назад?

Поезд мчался сквозь ночь, словно вырываясь из темноты, что настигла его внезапно, посреди степи. За вагонным окном ярко проступили огни. Ближние из них светляками прочерчивали темень и погасали где-то позади, а дальние проплывали медленно, мигали, прощально подрагивая лучистыми ресницами. Мелькнул желтоватый уютный квадрат окна — люди дома, под крышей. А у него под ногами чугунно гремели, отстукивали что-то колеса, и он ехал, сам не зная куда.

Из грохочущего в ночи вагона Андрей впервые в жизни увидел тогда своих родных, как в перевернутый бинокль: далеко-далеко и совсем маленькими. Пока подрастал, и мать и бабушка все еще были самые большие, самые главные со своим непререкаемым авторитетом. По-детски беспомощными, одинокими и беззащитными казались они теперь. Наверное, это чувство внезапного повзросления чаще и острее всего приходит в дороге.

Андрей рос у матери один, но маменькиным сыночком не считался. Наоборот, мать всегда, при каждом удобном случае подчеркивала, словно старалась кому-то доказать, что единственный сын растет не в оранжерее и что, хоть он и чадо ненаглядное, а манна небесная ему в рот не сыплется. Может быть, тем самым она хотела компенсировать недостающую

мужскую строгость: отец ушел от них, когда Андрею не исполнилось и трех лет.

Сейчас стояло перед глазами непривычно растерянное ее лицо, сведенные непонятной болью брови, словно она сдавала какой-то свой материнский экзамен и теперь не знала, что ответить строгому, несговорчивому экзаменатору. «Когда же ты успел, Андрей?» — все повторяла мать и нервно теребила в руках повестку из военкомата.

В плацкартном вагоне они заняли двенадцать полок подряд. Андрей то и дело выходил в тамбур курить. Железный скрежет переходных мостков между вагонами, едковатый запах разогретого мазута и карболки навевали тоску. Но первопричиной скверного настроения была неизвестность, которая ждала в конце пути. Перед самым отходом поезда вдруг выяснилось, что их группу распределили вовсе не в воздушно-десантные войска — ВДВ, как было обещано в военкомате, а совсем в другие, непонятно какие войска. Тревожный слушок повторился и окреп. И взоры надежды обратились к сопровождающему — молоденькому лейтенанту с нежным, подевичьи белым лицом. Но тот загадочно обводил своих подопечных невинным взглядом, элегантно поправлял туго затянутую, еще сияюще новенькую портупею и отмалчивался.

Странный человек был этот лейтенант. И виду не подал, когда один из призывников, оправдывая свою оплошность тем, что парикмахерская была закрыта на учет, заявился на сборный пункт неостриженным. Льняные космы «а ля Тарзан» волнисто ниспадали почти на плечи. Парня звали Руслан, и его имя совсем не подходило к фамилии — Патешонков. Руслан ввалился в купе с гитарой на роскошной голубой ленте. С зеркально отполированной деки обворожительно улыбалась коралловой улыбкой красавица, вырезанная из журнала «Советский экран».

— Понятно, это ваша Людмила,— сказал лейтенант и заинтересованно посмотрел на гитару.

Руслан не заставил себя долго ждать, наверное, не привык, чтоб упрашивали. Тонкими, гибкими пальцами тронул, погладил струны, как бы вызывая песню, наклонил голову, уронив льняную прядь, к чему-то прислушался и ударил густым медным аккордом. Пушки, что ли, ахнули? Или это взметнулся на бруствер траншеи взвод, которому суждено было погибнуть у деревни Крюково?

У деревни Крюково погибает взво-о-од ..

Голос у Руслана был тонкий, не соответствующий плотной фигуре и возрасту, и поначалу можно было подумать, что он притворяется, стараясь петь под мальчика. Но нет, иначе было нельзя. Жалость слышалась в песне. Руслан жалел взвод, от которого почти никого не осталось, и лейтенанта, такого молодого, и становилось не по себе оттого, что возле подмосковной деревни погибали, один за другим падали в снег ребята.

— Молодец,— вздохнул лейтенант.— Хорошая песня!

И все поняли, что Руслан со своей гитарой взял лейтенанта в плен.

Вот так, притупляя его бдительность, подкрадывались, прячась то за песней, то за шуткой-прибауткой, то за анекдотцем, к вопросу, не дающему покоя.

— Ну, приедем... А дальше?

Лейтенант молчал, как будто — мимо ушей. И опять улыбался.

— Дальше? А дальше то, что было раньше...— И щурил девичьи свои глаза, оставляя хитрые щелочки.

На шестом часу пути, когда из довольно оскудевших запасов остроумия были извлечены уже самые бородатые анекдоты и все слегка надоели друг другу, одурманенные дорожной соньюо, по вагону, неизвестно кем выпущенная, полетела «утка». Оказалось, что лейтенанту действительно было что скрывать. Веснушчатый парень с борцовской шеей, у которого даже ладони были рябыми от веснушек, под строжайшим секретом сообщил:

— Тихо... Нас везут в разведшколу...— И, понизив голос, чтобы не услышал лейтенант, таинственно добавил: — Где она, никто, разумеется, не знает. Но в Москве — это точно. Там, между прочим, готовили Штирлица...

Смешок недоверия прокатился по купе. Но все посерьезнели, приумолкли. И даже неунывающий Руслан больше не прикоснулся к гитаре. Их вагон угомонился только к полночи.

...Андрей проснулся оттого, что почувствовал на себе чей-то взгляд. Открыл глаза — на него с усмешкой смотрел лейтенант, уже облаченный в мундир, выбритый — ни морщинки на лице, ни складочки на сорочке. По всему вагону плыла приятная волна «Шипра».

За окном, не отставая от поезда, катилось по небу солнце. И чай янтарно плескался в подстаканниках.

— Ну, и здоровы же вы спать, Штирлицы! — бодро сказал лейтенант.— Подъем, подъем! Скоро Москва!

И от солнца, что оранжевым мячиком подпрыгивало на макушках синеющего леса, и от свежего, парадного вида лейтенанта на душе у Андрея стало празднично.

— Москва! — Глянул лейтенант в окно. Он произнес «Москва», как матрос, увидевший после долгого плавания берег, радуется: «Земля!»

Андрей прилип лбом к стеклу, но той Москвы, какую ожидал, не увидел. Он представлял, что как только кончатся пригородные леса, уже изрядно потрепанные осенним ветром и дождем, так сразу на горизонте покажется Кремль с дворцами, куполами, со знакомым силуэтом Спасской башни.

Но в окнах медленным безмолвным танцем, поворачиваясь то одной, то другой стороной, кружили многоэтажные громады, такие высокие, что их крыши заслоняли небо. И поезд будто съежился при виде огромного города и уже без былой величавости, почти как трамвай, катился, казалось, посреди улицы.

Потом он дрогнул, запнулся раз-другой и остановился совсем.

— Выгружайсь! — весело крикнул лейтенант.

В автобусе, поджидавшем их на вокзальной площади, лейтенант сделал перекличку. Все были на месте.

Андрей ревниво глянул на погоны сидевшего за рулем солдата. Погоны были малиновыми. «У ВДВ голубые,— расстроился он.— А вот какие у Штирлицев?» Патешонков, нахохлившись, уткнулся в воротник пальто и не поднимал глаз.

Минут тридцать ехали молча. Но вот шофер резко затормозил, и Андрей с нетерпением глянул в окно: автобус уперся в зеленые железные ворота с красной пятиконечной звездой. Моментально выскочивший из будки солдат проворно их отворил, автобус дернулся, и ворота с лязганьем захлопнулись.

— Прибыли! — с радостью в голосе объявил лейтенант.— Добро пожаловать!

Он построил их рядом с чемоданами, которые тоже стояли по ранжиру.

Прямая асфальтированная дорога между молоденькими, побеленными известью липами вела к трехэтажным домам, пустым и безмолвным. Перед этими домами на присыпанной гравием и песком спортплощадке блестели никелем и отполирован-



ным деревом турники, брусья и еще какие-то замысловатые сооружения. А дальше, до конца дороги, справа и слева, куда бы Андрей ни посмотрел, глаза всюду упирались в забор, за которым возвышались обычные «гражданские» дома — с разноцветными занавесками на окнах, с бельем, развешанным на балконах.

Солдат, отворявший ворота, стоял в дверях будки и с любопытством взирал на прибывших.

— Послушай... парень! — окликнул солдата один из ребят, по фамилии, кажется, Нестеров.— Какая это часть?

Небрежно сдвинув со лба на затылок порыжевшую от солнца фуражку, солдат — сразу видно, не первого года службы,— поглядел на них, как показалось Андрею, с сочувствием.

— Ракетный полк кибернетики,— медленно, членораздельно отчеканил солдат и подмигнул.

— Нет, серьезно! Какие войска? — просительно метнулись к нему, перебивая друг друга, несколько голосов.

— Я же сказал, эр-пэ-ка,— повторил солдат и исчез в своей будке.

3

«РПК», «РПК», «РПК» — рокочущее барабаном это созвучие воспринималось как некий таинственный шифр жизни, которой теперь предстояло им жить.

Лейтенанта Горикова, того самого, что сопровождал их на службу, было не узнать. Что-то переменилось в нем, как только очутились в расположении части: где вагонное добродушие, где веселость и покладистость «своего парня»? Опять собрал всех на плацу, подал команду «Становись!» и тут же тихо и невозмутимо приказал «Разойдись!». Позавчера ему не понравилось одно, вчера другое, а сегодня выяснилось — долго становились в строй, надо в считанные секунды, так, словно к локтям привинчены магниты: раз, два, три — и шеренга как спаянная.

Всех призывников разобрали по росту, и Андрей, у которого рост был метр восемьдесят пять, попал в первый взвод — взвод кандидатов в роту почетного караула. Оказалось, что ниже ста восьмидесяти сантиметров в РПК вообще не берут.

— Ррав-няйсь!

По этой команде надо повернуть голову направо — как можно резче — и увидеть «грудь четвертого человека». Если нагнешься — покажется пятый, а может, и шестой, а завалишься чуть назад, всех заслонит первый, правый. «Грудь четвертого человека» — в самый раз, высчитано, выверено веками строевой практики. Стараясь выравняться, Андрей скосил глаза на грудь Аврусина, уже проявившего незаурядные способности к шагистике. Сухопарый, жилистый Аврусин весь был как на шарнирах, и лейтенант, сразу оценивший «природные данные», уже несколько раз выводил его из строя для наглядной демонстрации строевых приемов. Аврусин Андрею не нравился, неприязнь началась еще в вагоне. Не кто-нибудь, даже не лейтенант, а почему-то именно Аврусин сделал тогда замечание Руслану за длинные волосы. Его-то какое дело?

Третьим стоял Нестеров — бледный, растерявший свои веснушки, с тем мучительным выражением послушания и покорной внимательности на лице, с каким у доски стоит незадачливый ученик,— Нестерову

уроки строевой не давались, он часто путал ногу, не мог подладить отмашку рукой.

Смешливый, готовый по пустяку расхохотаться Линьков, стоя слева от Нестерова, и сейчас едва сдерживал улыбку, и лейтенант подозрительно на него посматривал.

Совсем рядом, касаясь правой руки, вытянулся Руслан Патешонков. С роскошными своими кудрями он распрощался в день приезда и сейчас был удивительно похож на ощипанного петушка. Его гитаре разрешили висеть в каптерке.

— От-ставить!..

Лейтенант неторопливо осмотрел шеренгу — медленно-медленно слева направо, потом зигзагами: от подбородков (не слишком ли опущены) к ногам (не слишком ли сведены носки сапог),— и румянец, свекольно заливавший его щеки, растворился, лейтенант наконец-то позволил себе улыбнуться.

— А он не простак,— шепнул Андрею Патешонков,— это для первого знакомства рубаха-парень и прочее, а потом так зажмет — запищим.

Патешонков сказал это совсем тихо, но лейтенант услышал, и воздух будто разорвало:

— Рраз-говорчики!

На его щеках опять проступили свекольные пятна.

Прошелся вдоль шеренги сосредоточенный, словно шахматист, дающий сеанс одновременной игры. Вскинул затененные ресницами, посветлевшие, совсем штатские глаза.

— Вопросы есть?

Андрей ослабил ногу, через смущенное покашливание спросил:

— У меня есть, товарищ лейтенант. Что же это все-таки такое, эр-пэ-ка? — Конечно, он знал, но интересно, что скажет лейтенант.

Лейтенант молча кивнул, вопрос показался ему существенным.

— Матюшин! — не оборачиваясь, позвал он стоявшего позади не то загоревшего, не то просто смуглого долговязого сержанта.— Устав гарнизонной и караульной служб!

Матюшин бегом кинулся в казарму и через минуту вернулся с тоненькой книжкой.

Лейтенант нащупал взглядом Андрея.

— Звягин, выйти из строя!

Андрей сделал вперед два шага, неловко, покачнувшись, повернулся лицом к шеренге.

— Читайте вслух, погромче! — приказал лейтенант, протягивая устав.

Андрей открыл первую страницу и вопросительно посмотрел на лейтенанта.

— Страница сто семьдесят шесть,— с расстановкой, поднимая взгляд поверх шеренги, словно видел эту страницу на противоположной стене кирпичного дома, подсказал Гориков,— параграф триста сорок первый... Нашли?

Андрей впился в строчки.

— «Почетные караулы...— начал он неуверенно.— Почетным караулом называется подразделение (команда), назначенное для отдания воинских почестей. Почетный караул назначается для встречи лиц, указанных в статье двадцать первой...»

Андрей запнулся: что за чайнворд?

— Отлистайте на страницу семнадцать,— невозмутимо сказал лейтенант.

— «Начальник гарнизона встречает, рапортует и сопровождает прибывающих в расположение гарнизона Председателя Президиума Верховного Совета СССР, Председателя Совета Министров СССР, Генералиссимуса Советского Союза, Министра обороны СССР, маршалов Советского Союза и адмиралов флота Советского Союза. Для встречи этих лиц выстраивается почетный караул...»

— Стоп! — оборвал лейтенант и поднял ладонь.— Ясно, что за лица? — И подтянулся, развернул плечи, словно сейчас на плацу должны были появиться эти государственного ранга люди.— Продолжайте,— кивнул он Андрею, не меняя позы.

Андрей уже со знанием дела вернулся к знакомому параграфу и продолжал читать спокойнее, даже с выражением.

— «Кроме того, почетный караул может назначаться: к знамени, выносимому на торжественные заседания; на открытие государственных памятников; для встречи и проводов представителей иностранных государств; при погребении военнослужащих; а также при погребении гражданских лиц, имевших особые заслуги перед государством...»

— Стоп! — опять остановил лейтенант.— На сегодня хватит, остальное — проработать самостоятельно. Вопросы? Нет? Разойдись!

Шеренга пошатнулась, распалась, и, тяжело громыхая сапогами, словно подошвы были железные, солдаты ринулись к лавочке — перекурить.

Кто-то выхватил из рук Андрея устав.

Патешонков, вытянув худую, петушиную шею, восторженно толкал Андрея в бок.

— Королей и герцогов видел? Ни в жизнь! А тут они сами тебе навстречу! Ваше величество! Рядовой Звягин!

Андрей нехотя поддержал шутку:

— Я предпочел бы принцессу...

— И во Дворец бракосочетаний! — рассыпался смешком Линьков.

— Тебе все шуточки...— грустно одернул его Андрей.

После перерыва лейтенант Гориков представил им командира отделения.

— Сержант Матюшин! — щелкнул каблуками долговязый сержант, тот самый, что бегал за уставом, и доверчиво посмотрел на шеренгу.

Одет он был опрятно, даже несколько щеголевато, но в пределах той допустимой нормы, которая позволяет выглядеть одновременно и уставным и элегантным. Мундир облегал его плотную фигуру так, словно был сшит на заказ, хотя и казался поношенным, как бы уже выбеленным солнцем. И всем сразу понравилась эта не парадная, а будничная, свойственная солдатам последнего года службы подтянутость, стройность, которая дается не напряжением, а естественна, как привычная поза или походка.

— Ну, так с чего начнем? — простецки, посвойски улыбнулся сержант и, опустив голову, в каком-то веселом своем раздумье прошелся вдоль строя.

Это его добродушие, товарищеская непринужденность (подумаешь, чего бы ему выламываться: на каких-то два-три года старше) сразу передались шеренге. Она зашаталась, как забор, потерявший опору. И из возникшего тут же говорливого ручейка, побежавшего от фланга к флангу, выплеснулся озорной голос:

— Начнем с кибернетики...

И шеренга прыснула, поломалась.

Сержант встрепенулся.

— Р-р-разговорчики! От-ставить! — И точь-в-точь, как лейтенант, выпрямился.— Равняйсь!.. Смирно!.. Вольно!

Как бы незримым тросиком схваченные, подбородки дернулись вправо, мгновенно повернулись

обратно, и строй снова спружинил вниз, на чуть согнутом колене. И — молчок!

— Тема первого занятия: обучение строевой стойке,— строго сказал сержант, спрятав совсем уже глубоко добродушие и простоту, беспечность, которые сближали его с шеренгой, делали похожим на всех. Между ним и строем пролегла черта.

Оказалось, что даже такой пустяк, как постановка носков сапог, требует своей методики.

— Носки свести вместе, делай — раз! — скомандовал сержант.— Носки развести—делай два!

— Во даем! — развеселился Линьков.— Ансамбль пляски острова Пасхи!

Андрея одолевала усталость. Как сквозь сон, вслушивался он в монотонный голос сержанта, который учил теперь «держать грудь». Смешно подумать, но и в этом тоже была своя наука. Чтоб приподнять грудь, надо сделать глубокий вдох, в таком положении ее задержать, «выдохнуть и продолжать дыхание с приподнятой грудью». Устав давал точную инструкцию.

— А такой фокус знаете? — услышал Андрей и не сразу осознал, что сержант обращался к нему.

— Какой? — механически спросил Андрей, пытаясь сбросить одеревенелость.

— Смирно! — скомандовал в ответ сержант и внимательно посмотрел на Андреевы ноги.

— Поднять носки сапог!

Андрей легко оторвал носки от асфальта, но тут же запрокинулся назад, замахал руками, едва удержав равновесие.

— Вот-вот! — обрадованно, что фокус удался, усмехнулся сержант.— Значит, неправильная стойка, не подали корпуса вперед. Попробуйте еще.

Андрей чуть подался вперед, стараясь не сгибаться, попытался приподнять носки сапог и не смог: они были словно припаяны к асфальту.

Тупая, как зубная боль, злоба вдруг засаднила в Андрее.

— Вы что, смеетесь? — спросил он, едва сдерживаясь, чтобы не сказать грубость.— Я что вам, кукла?

— Над чем... смеюсь? — опешил на мгновение сержант.

Губы его дрогнули, он виновато заморгал, не поняв или обидевшись.

— Над нами смеетесь...— процедил Андрей.— Мы что же, выходит, совсем олухи?

Сержант отступил на шаг, смерил Андрея взглядом, как будто видел впервые, и в щелочках прищуренных глаз — ставших снова похожими на лейтенантские — блеснула усмешка.

— Я бы сказал вам, Звягин... Но вы сами. Надеюсь, сами...— И отвернувшись, словно сразу потеряв к Андрею интерес, сержант выкрикнул:— Разойдись!

Натертые ноги ныли. Андрей подошел к высоким зеркалам, стоявшим сбоку плаца, под развесистыми тополями. Зачем они здесь? Неужели недостаточно тех, что в умывальнике? На крайний случай можно вполне обойтись своим квадратненьким, вделанным в футляр электробритвы...

Ослепительно высверкнуло голубым, потом над небом мелькнул корявый сук тополя, и, как в дверном проеме, показался незнакомый солдат. Темные, ввалившиеся глаза отрешенно, с болезненным блеском недовольства смотрели на Андрея.

«Неужели это я?» — не узнавал он.

Фуражка нависала на уши, мундир болтался, как на вешалке, и, выдавая едва заметную кривинку ног, жестяными раструбами топорщились голенища сапог. В зеркале качнулось раскрасневшееся лицо Линькова.

— И ты знаешь, зачем эти трюмо? — скорчив рожицу, спросил он.— Строевую отрабатывать. С самим собой! Во дают!

Приковылял Нестеров. Жалостно признался:

— Не клеится у меня. Ну, хоть ты что... Вместе с левой ногой левая рука поднимается... Какой-то я недоконструированный...

Капли пота скатывались по его щекам, оставляя грязноватые бороздки.

В тот день Андрей еле дождался отбоя. Вытягивая в постели затекшие, сделавшиеся чужими ноги, он долго размышлял о превратностях судьбы, о воле чистого случая, по которому попал в РПК, о будущем, которое виделось ему теперь впереди лишь горячим, отшлифованным подошвами, серым плацем, покачиванием бесконечных шеренг, вздрагивающих от ударов барабана... «А этот сержант...— с раздражением вспомнил Андрей.— Тоже еще фокусник... Носки врозь... Кто дал ему право?»

Белый парашют — его мечта — покачивался в синеющем окне.

«Только в ВДВ, только в ВДВ»,— повторял про себя Андрей.

Патешонков тоже не спал, вздыхая, ворочался рядом.

— Послушай, Руслан,— позвал Андрей как можно тише.— Ну их к аллаху, а? Махнем в вэ-дэ-вэ? Я больше не могу, понимаешь — не могу... Мне этот плац уже снится.

— Как это махнем? — приподнялся Патешонков.— Да это же... Особая рота!

— Особая топать?

— Выбрось из головы! — угрожающе прошептал Патешонков.— Ты же знаешь... Перевод может разрешить только сам министр...

— А что министр? Напишу министру! — как о само собой разумеющемся сказал Андрей.

Но холмистый силуэт на соседней кровати больше не шевельнулся. Раздался тихий притворный храп.

«Напишу,— решил Андрей, все больше распаляясь от собственной этой идеи, озарившей беспросветный сумрак завтрашних дней.— Завтра же узнаю адрес и напишу».

И он представил, как закругленно выведет на тетрадном листе: «Министру обороны Союза ССР...»

«Министру»... «Заявление».

Нет, точнее будет — «Рапорт». Но не слишком ли официально? Ведь он не докладывает о чем-то государственно важном... Ведь это всего-навсего личная просьба. Конечно, проще и правильней «Заявление».

«Заявление»... «Уважаемый товарищ министр!» Да, уважаемый... Иначе как же? «Уважаемый...» — прочтет командир всех командиров и подобреет, поласковеет его лицо. «А что, вполне воспитанный молодой человек»,— кивнет министр и улыбчиво глянет поверх очков на стоящего рядом генерала. «Уважаемый товарищ министр!» — повторил Андрей, холодея от восторга, от уважения к самому себе, так запросто обратившемуся к столь высокому лицу.

«Пишет вам выпускник средней школы, призванный... согласно вашему приказу, в ряды Советской Армии». Вот это «согласно вашему приказу» тоже понравилось Андрею, такую фразу министр не сможет не оценить. «Извините, что отрываю вас своим письмом от важных дел по... охране, нет — обеспечению обороны нашей страны. Но я вынужден, просто вынужден к вам обратиться... Во время приписки... в военкомате мне было обещано направить меня в ВДВ,— продолжал Андрей подбирать, как ему казалось, для весомости сугубо канцелярские выражения.— Однако произошло недоразумение. Непонятно, по какой причине я оказался в роте почетного караула, где сейчас нахожусь в карантине». Анд-

рей все больше вдохновлялся уверенностью, что министр обязательно поймет его и исправит ошибку военкомата.

«Смею вас... заверить,— пробовал, перебирал Андрей каждое слово,— я ничего не имею против роты почетного караула. Очевидно, это подразделение носит важную функцию. И эта рота, безусловно, нужна. Однако я ходатайствую перед вами о переводе меня в воздушно-десантные войска. Во-первых, потому, что я с детства мечтал о службе парашютистов, и, во-вторых, у меня в аттестате только одна четверка, и, следовательно, я мог бы быть более полезен нашим славным Вооруженным Силам. На мой взгляд, в роте, где я прохожу карантин, могут служить и другие, имеющие склонность к основному предмету... а именно к строевой подготовке».

Андрея охватили сомнения: достаточно ли весомы аргументы? «А у него почему нет склонности к строевой?» — озадаченно спросит министр генерала. Нет, что-то не так... Надо высказать свое отношение к службе. Да-да, иначе будет непонятно.

«...Как гражданин Советского Союза, выполняющий священную обязанность,— все больше проникаясь гордостью за себя, шептал Андрей,— я хотел бы отдать все свои силы и знания на самом трудном посту. И солдатские годы я хочу прожить так, чтобы быть достойным тех, кто отстоял нашу любимую Родину...» Эта последняя фраза понравилась Андрею больше всего.

«Вот так и напишу... Завтра же.. Узнаю адрес и напишу»,— успокоенно согреваясь и засыпая, подумал Андрей.

Утром, оглядываясь, чтобы никто не увидел, он опустил письмо в почтовый ящик.

4

Дни пошли один за другим, похожие, как солдаты в строю. Время теперь стиснулось командами «Подъем!» и «Отбой!». Разграфленное на минуты, оно заполнялось одним и тем же, повторяемым с утра до вечера: физзарядкой, завтраком, строевыми занятиями, обедом, потом опять занятиями, ужином, коротким, как перекур, «временем для личных надобностей» и усталым забытьем сна.

Карантин кончался, и новички, распределенные по взводам, становились в строй роты почетного караула.

Да, это было событие, которого с надеждой и опасением — а вдруг отчислят! — ждали, к которому готовились все, кроме Андрея. Он и не подозревал, как спрятанным, придирчивым взглядом следили за каждым шагом, за «стойками» и «поворотами» опытные командиры, ревнивой придирчивостью своей похожие на тренеров, отбирающих самых лучших в сборную страны.

Андрей готовился к другому — упрямо, с неостывающей надеждой ждал он ответа от министра обороны, уверенный, что обязательно удостоится внимания этого самого высокого воинского начальника. И это томительное, каждодневное ожидание крутой перемены в жизни, ожидание торжества справедливости, в которую он верил непоколебимо, придавало сил. Он послушно жил жизнью, заключенной в пределы строгого забора, выполнял все, что положено выполнять молодому солдату, но прилежности и старания не выказывал и смотрел на все, даже на себя, стоящего в строю, как бы глазами постороннего человека. Словно два Андрея существовали в нем одновременно — один равнодушный, как робот, механически исполняющий команды, другой — живой, ранимый по пустякам, обиженный жестоким, несправедливым поворотом судьбы. Этот второй пристально наблюдал за первым и сочувствовал ему. Белый парашютик ВДВ миражно покачивался в небе и не давал покоя.

Взвод новичков бросили «на прорыв», на кухню. Картофелечистка гудела ровно и, разогреваясь, голодно позванивала. И в тот миг, когда, взвыв от удовольствия, она приняла в скрежещущую утробу новую порцию картошки, ее натужный гуд заглушили другие звуки, внезапно ударившие в окна. Ахнули рассыпчато медные тарелки, взвился серебряный голос трубы, басовитому рокоту барабана переливчато откликнулись флейты — и заходили ходуном, забились о стены казарм, заметались в тесноте плаца оглушительные ритмы марша.

Они бросились к узкому окошку: из-за угла казармы выходила на плац радужно-нарядная, яркая и лощеная, как на переводной картинке, колонна солдат. Нет, это были три совершенно разных колонны, слитые маршем в одну.

Впереди за огненно подрагивающим знаменем шли высокие и стройные, один к одному, как на подбор, перетянутые белыми ремнями парни в светло-серых шинелях, в серых каракулевых шапках, и черно-глянцевые их сапоги — шаг в шаг — словно выводили на асфальте какую-то свою мелодию, помогая оркестру, который восторженно гремел им навстречу. Лучась штыками, невесомо плыли над строем карабины — они были живым продолжением этих шагающих, резко разрубающих руками воздух солдат.

Правофланговым первого ряда шел сержант Матюшин. Да, это был он — непривычно сосредоточенный, как бы загипнотизированный музыкой. «Вот теперь и ты топаешь!» — со злорадством подумал Андрей, не признаваясь себе, что любуется сержантом. Матюшин же, словно почувствовав его взгляд, покосился вправо, и Андрей стыдливо отпрянул от окна.

За первой, общевойсковой, под своим — в синежелтых лучах флагом — печатала шаг колонна солдат в голубых шинелях. Как будто на вертолете прямо на плац опустились летчики — от них веяло льдисто-холодным, бездонным небом, и у Андрея сладкой, щемящей тоской шевельнулось сердце: «ВДВ, почти ВДВ...»

За небесной этой колонной горделиво трепетал третий, бело-синий с красной звездой, серпом и молотом военно-морской флаг. Парни в черных шинелях, в черных брюках-клеш отбивали черными ботинками по асфальту, как по бронированной палубе, свой марш морей. И над согнутыми локтями, над взметенными белым прибоем перчатками всплескивались, отсвечивали золотом якоря, якоря...

Сбоку всей этой серо-голубой, черной колонны то забегал вперед, то пятился, придирчиво вглядываясь в ряды, в лучистый частокол штыков, офицер в парадной шинели, с шашкой на золотистом ремне. Он что-то выкрикивал, стараясь пересилить оркестр, наверное, тут же, на ходу, делал замечания и очень был похож на дирижера, который управляет другой, вот этой шагающей музыкой — музыкой парадного строя.

— Командир роты... Красавчик...—восхищенно проговорил Патешонков.

А Нестеров осведомленно пояснил:

— Встречный строй в полном составе. Поедут встречать премьер-министра Японии.

Он не отрывал глаз, впечатался щекой в стекло, провожая колонну, пока она не скрылась за поворотом.

— Черт возьми, неужели меня не зачислят? Ну, хоть бы замыкающим!..

— Хватит ныть! — не сдержался Андрей и, выражая полное безразличие, вернулся к картофелечистке.— Ну, не возьмут... Свет, что ли, клином? Это же бутафория, показуха. Разве это моряки? Или, может, летчики? Да они ни моря, ни неба ни в жизнь не увидят. Плац — это да. Это их работа... Ать-два левой — и в столовую!

— Ну, как у меня отмашка? Посмотри! — не обращая внимания на Андрея, умоляюще обратился Нестеров к Патешонкову.

И там, да, да, именно там, возле картофелечистки, когда Нестеров неуклюже, будто ломаным крылом, взмахнул рукой, изображая строевой шаг, Андрея осенила простая, но именно в простоте своей гениальная идея. Как он раньше не догадался? Нестеров рвется во встречный строй РПК, а его не берут: руки и ноги враздрай, хоть ты что! Роте нужен особый «шаг», роте нужна особая «рука». Не каждый сможет сделать то, что нужно этой роте. А он, Звягин, любуйтесь, пожалуйста! А может, и у него не получается? Не получается — и все. Координация не та, реакция, да мало ли что?

Из серой, набухшей тучи, которая, казалось, нарочно повисла над плацем, сыпал мелкий колючий дождь вперемежку со снегом. Ветер пронизывал насквозь, забираясь под воротник, в рукава шинели. Шли последние отборочные занятия. Сапоги, перемешивающие на асфальте грязную снежную кашицу, отсырели, отяжелели и не сопротивлялись холоду. Но Андрея согревало озорное ожидание: затея, кажется, удалась — никто из всего взвода не получил столько замечаний, сколько он.

— Что с вами, Звягин? — обеспокоенно поинтересовался лейтенант.— Не заболели? Портянки хорошо навернули?

— Плохому танцору всегда что-нибудь мешает,— отшутился Андрей.— Значит, ноги не из того места растут...

— Жаль,— искренне посочувствовал лейтенант.

Покурили, поглотали теплого дымку и опять: «Выходи строиться!», «Становись!».

Затолкались, подравнивая шеренгу. И еще не стихший говор сразу оборвала хлесткая команда. Лейтенант повернулся и зашагал навстречу приближавшемуся от казармы офицеру.

Андрей узнал командира роты, который совсем не был похож на того юношески бодрого красавца в аксельбантах, что тренировал на плацу почетный караул. Худощавое, уже не молодое лицо выражало задумчивость и озабоченность.

— Товарищ майор! — вскинул лейтенант к козырьку руку, но тот мягко отстранил:

— Вольно, вольно, продолжайте занятия.

Остановился в десяти шагах, спокойным, ощупывающим взглядом пробежал по шеренге. Андрею показалось, что он чуть дольше, чем на других, задержался на нем. Что-то похожее на усмешку мелькнуло в усталых глазах командира.

— Сейчас объявит...— настороженно шепнул Нестеров.

Но командир молчал. Еще раз, теперь уже слева направо, оглядел шеренгу.

— Ну что ж, посмотрим...

Снова поискал-поискал взглядом и как будто случайно остановился на Андрее.

— Вот вы,— показал подбородком командир роты.

— Рядовой Звягин! — выкрикнул Андрей нарочито громко.

— Рядовой Звягин, выйти из строя! — не повышая голоса, приказал командир.

И Андрею опять стало весело — никто не мешал ему повторить тот же спектакль, только теперь специально для командира роты.

— Рядовой Звягин,— как бы разговаривая, без восклицания скомандовал майор: — Прямо, шагом... марш!

Шлепнув сапогом по снежной жиже, Андрей вперевалку пошел прямо, не затаивая улыбку — со спины ее уже никто не видел.

Но с этой нарочитой небрежностью, едва отрывая ноги от асфальта, слегка волоча их, он прошел шагов семь-восемь, не больше.

— Отставить! — услышал Андрей и не узнал голоса командира — властность, требовательность и раздражение, прозвучавшие одновременно, исказили привычный баритон.

В спину прогремело жестью:

— Рядовой Звягин! Строевым, шагом марш!

Андрей попытался опять изобразить неуклюжесть и хромоту, но внезапно ощутил, что ноги и руки уже не подчиняются только ему, а послушно исполняют приказание командира.

Это было странно — командир молчал, но команда его продолжала повелевать — так от короткого, несильного толчка начинает стучать маятник. Не замечая луж, Андрей дошагал до забора, сам повернулся кругом и отчаянно, поддаваясь новой волне озорства, пошел прямо на командира — полным строевым шагом — и не таким, как учил устав, а еще более четким, с резким выбросом руки, с секундной ее задержкой перед грудью — как это он вчера подсмотрел у встречного строя роты.

«На́ тебе, на́ тебе! — в такт шагу думал Андрей, дерзко глядя прямо перед собой, стараясь перехватить взгляд майора.— Тоже еще наука... Если ты командир РПК, так, небось, думаешь, что никому эту вашу шагистику не освоить? На́ тебе, на́ тебе, на́ тебе!»

Андрей шел прямо на командира, нисколько не сомневаясь, что тот уступит дорогу — команды остановиться никто не подавал. Снег ошметками летел из-под сапог, грязные брызги доставали до подбородка.

— Стой! — со вскриком нескрытого удивления скомандовал майор, остановив Андрея в трех шагах от себя. И снова, невидимая строю, отчетливо адресованная только Андрею проступила в глазах командира усмешка: «Вот так-то, дорогой вы мой, знаем мы эти ваши штучки. Становитесь в строй и чтобы больше — ни-ни!»

— Молодец, Звягин,— вслух похвалил командир.— Так ходить! Все видели? Хоть сейчас во встречный строй! — Расправил перчатки, помолчал и, уже не глядя на Андрея, сказал: — После занятий, Звягин, ко мне.

В накуренном кабинете командира роты было тесновато: кроме него самого, разговаривавшего с кем-то по телефону, Андрей увидел трех лейтенантов. Двоих он знал только в лицо — командиры взводов, «морского» и «летного». Лейтенант Гориков сидел на стуле в углу, сосредоточенно рассматривая какой-то альбом.

— Садитесь,— кивнул командир роты, и Андрей, потоптавшись, примостился на краешке единственного свободного стула.

Кабинет и в самом деле мог бы быть попросторнее: в него едва вместились стол и шкаф. На стене козырьком выпирала вешалка с наброшенным на

плечики парадным мундиром. Под вешалкой — с негнущимися, начищенными голенищами стояли сапоги.

«В полной боевой готовности»,— насмешливо подумал Андрей. Он обвел взглядом унылые, пустые стены и над самым столом, справа — при входе сразу и не заметишь,— увидел портрет, который показался ему не то что знакомым, но даже родным. На Андрея по-свойски, как на близкого человека, на единомышленника смотрел министр обороны. И от этого доброго взгляда, от присутствия рядом маршала, который наверняка уже прочитал письмо и вскоре должен был прислать положительный ответ, Андрей почувствовал себя уверенно и свободно и, теперь уже ничуть не смущаясь, открыто взглянул на командира.

«Если насчет письма, ну что ж... Я за себя отвечаю...»

— Ну, так что будем делать, Звягин? — спросил майор, аккуратно положив трубку.

— Вы что имеете в виду? — как можно учтивее уточнил Андрей.

— Я имею в виду ваш кордебалет на плацу. Не хотите ходить? Может, вы вообще служить не хотите?

И майор обвел взглядом лейтенантов, как бы призывая их в свидетели, прося их сочувствия.

— Почему же? — стараясь быть спокойным, возразил Андрей.— Я даже очень хочу служить, но только... не в вашей роте...

Зачем он тогда — так, прямо? После Андрей не мог себе простить несдержанного откровения, а вернее, ответного взгляда майора, сразу затуманенного, потухшего, не спрятавшего обиду.

— Ваша рота, конечно... Я понимаю... Я ничего не имею против...— фальшиво и запоздало спохватился Андрей.— Но в военкомате мне говорили, в ВДВ...

Майор наклонился над столом, чуть скособочась.

— Не имею против...— покачал он головой и слабо улыбнулся грустной, словно оправдывающейся улыбкой.

— Я просил бы, товарищ майор...—зазвеневшим голосом, доверяясь этой улыбке, подхватил Андрей.

Он с надеждой, ища поддержки, повернулся к лейтенантам. Они сидели, затихнув, демонстративно поглядывая в окно. Гориков опять уткнулся в альбом, как будто ничего больше, кроме этого альбома, на свете не существовало.

Командир роты выдвинул ящик стола, достал из кожаной папки какую-то бумагу, и по тому, как он на отлете, на весу ее держал, Андрей понял, что бумага очень важная.

— Вот ответ... министра...— строго взглянув на Андрея, сказал майор. Последнее слово он произнес с нажимом, отделяя его от других и тем самым усиливая значение.

«Так быстро?» — изумился Андрей.

— Министр оставляет решение вопроса на наше усмотрение,— медленно проговорил майор, выпрямляясь.

— Что значит — на ваше? — недоверчиво, с тяжелым предчувствием спросил Андрей.

Майор что-то хотел объяснить, но лейтенант Гориков, все время молчавший, вдруг оторвался от альбома, опередил:

— Видите ли, товарищ Звягин, армия — не кружок художественной самодеятельности... Хочу пою, хочу танцую...

— Не надо так, Гориков! — остановил майор.

И, бережно вкладывая бумагу в папку, сказал:

— И на ваше усмотрение, Звягин. Время есть. Есть время подумать... Можете идти.

Майор, три лейтенанта и он сам, Андрей... Да, их было в комнате пятеро. Больше ведь никто не заходил. Но почему Андрею показалось, будто о разговоре с майором уже знала вся рота? Матюшин прошел, отвернувшись, Патешонков и Нестеров тягостно отмалчивались с тем видимым безразличием, в котором таилось презрение.

5

Присягу принимали в декабре. Ну да, в первое воскресенье, Андрей тогда еще удивился — в декабре выпал запоздавший снег...

Андрей ехал вместе со всеми — порядок есть порядок, присягу должен принять каждый солдат, к какому бы роду войск ни относился. Присяга одна на всех, будь ты пехотинец, моряк или летчик. И нет худа без добра: это даже лучше — перевестись в ВДВ уже равноправным, давшим клятву солдатом.

Из новичков в казарме оставался один Нестеров — его отчислили из РПК за непригодность к специальной строевой службе и переводили в другую часть. Нестеров стоял возле автобуса, потирая кулаком покрасневшие глаза,— вчера, когда командир роты объявил о своем решении, солдат, не стесняясь, как мальчишка, заплакал в шеренге. Андрей Нестерова жалел.

Автобус нетерпеливо подрагивал. Лейтенант Гориков в парадной шинели, перетянутый золотистым поясом — «под шашку», в каракулевой шапке с сияющим «крабом»,— праздничный и деловитый, словно ему предстояло парадом пройти сегодня по Красной площади, упруго вскочил на подножку автобуса,





в котором уже сидел, тоже весь в новом, сияющий пуговицами его взвод, отодвинул, будто полог, край флага, свисающего сверху, пробежал, прощупал взглядом, все ли на месте. Он глянул как бы мимо Андрея, не принимая его в счет, и от этого явно подчеркнутого невнимания, небрежения Андрею стало не по себе.

Три автобуса, вместивших роту, стояли в порядке взводов, и, заглянув в оконце, Андрей увидел впереди этой кавалькады зеленый, с красной полосой «рафик», на крыше которого ослепительно синим светом уже вертелась-мелькала «мигалка». Перед «рафиком», затянутые в кожу, положив на рули белые краги, сидели на мотоциклах регулировщики военной автоинспекции. На первом автобусе, как и на двух остальных, торжественно красовалась надпись, обозначавшая их принадлежность: «Почетный караул». И недосягаемо важничавшие мотоциклисты и «рафик» с «мигалкой», коим надлежало открыть и держать перед автобусами зеленую улицу,— так, чтобы до самого места напрямик, без остановок, через кишащие пешеходами перекрестки, и сами автобусы, в окнах которых мелькали штыки и знамена,— все это придавало колонне особое значение, особый вид. Нет, не простые солдаты выезжали из ворот КПП.

Мотоциклы впереди взревели, дернулись. Поехали!

— Братцы, а ведь мы первый раз за воротами! — на весь автобус выкрикнул Патешонков.

Сдерживая скорость, кавалькада долго петляла переулками, пока не съехала, как бы пятясь, на широкую, окаймленную гранитным парапетом набережную. «Москва! — догадался Андрей.— Москва-река!»

От берега до берега в избытке темных, еще не схваченных льдом вод катилась река, о которой он так много слышал, но которую видел впервые. Автобус нагнал медлительную неуклюжую баржу с белой, свежевыкрашенной рубкой. Баржа, явно отставая, скользнула назад, и снова от берега до берега, от гранита до гранита недвижно блестела вода. И, быть может, волжанин, даже наверняка из тех мест парень, сидевший на задней лавочке, не умеряя природного оканья, вспомнив, видно, свою Волгу, запел сначала тихо, про себя, а потом, забывшись, во весь голос:

Из-за острова на стрежень,
на простор речной волны...

И взвод, разминая застоявшиеся в молчании голоса, обрадовавшись случаю, подхватил, грянул так, что лейтенант Гориков, сидевший впереди, непроизвольно оглянулся. Однако замечания не сделал, и это сразу солдаты отметили — чуть-чуть приглушили голоса для вежливости, но петь продолжали свободно.

И вдруг Патешонков, который не отлипал от окошка всю дорогу, опять крикнул:

— Кремль!

И замерла на губах, застыла на выдохе песня — даже «старички», ехавшие по этой дороге, может быть, не первый десяток раз, и те подались вправо. «Кремль!»

Андрей увидел красно-кирпичную, белую, в ажурной вязи дворцов, в золотых переливах куполов, в рубиновых огоньках звезд, словно бы волшебно вынырнувшую из Москвы-реки, легкую, умытую, чистую, как облако, громаду Кремля.

Непривычно было видеть Кремль со стороны Москвы-реки, как бы этой рекой подчеркнутый, словно кто провел по низу прекрасной картины синей маслянистой кистью. А может, и картина-то вся начата вот этой волнистой полоской реки, чуть повыше —



брошен серый штришок набережной и выведен зубчатый, сбегающий каскадами с еще зеленого, под голубыми елями холма узор стены. А еще выше — на пространстве, занятом уже у неба, снежная, обметенная вековыми вьюгами, удивительно похожая на ждущую старта космическую ракету колокольня Ивана Великого. И золотым пожаром — по куполам, по куполам, то выше, то ниже — солнце. Вот оно размельчилось на разноцветные кусочки — как будто радугой застеклили окна Большого Кремлевского дворца. И слышно: еще дрожит, дрожит в остекленевшем небе набатный гул тяжелых древних колоколов...

Автобус свернул направо, и стройная величавая башня — Андрей никак не мог вспомнить ее названия — заслонила окошко. Боровицкая? Боровицкие ворота? А эти деревья вдоль стены, за чугунной оградой — Александровский сад?

Опять стена, еще какая-то башня, поворот вправо — и заворчал, зафыркал мотор, попугивая зевак. Приехали!

Вся площадь между темно-бурой громадой Исторического музея и черной металлической решеткой, что вытянулась прямо от башни, огибая Александровский сад, была запружена народом. Но толпу сдерживали легкие переносные ограждения, возле которых, постукивая валенком о валенок, стояли милиционеры. Колонна быстрым шагом, бесшумно прошла через распахнутые чугунные ворота в сад и остановилась, выравниваясь вдоль гранитного возвышения.

Стоявший во второй шеренге Андрей сначала увидел только кирпичную стену — высокую, выше макушек елей. Слева выпирала неказистая массивная башня. Но вот подали команду, по которой солдатам-новичкам надлежало выступить в первую шеренгу. Двое перед Андреем расступились, и он шагнул вперед.

Прямо перед ним, шагах в десяти, на возвышении из гладкого, отполированного до сияния мрамора дрожало, то приникая к бронзовой звезде, расстилаясь, то взвивалось, вспыхивая, пламя. Андрей вспомнил, что видел его уже — и не однажды — на экране телевизора, только тогда оно было безжизненно серым, бесцветным. И теплый комочек шевельнулся в груди, подкатил к горлу. Это было так далеко, так давно, что уже и не верилось, что было. Да, да, в ожидании Огня — вот этого самого — подсаживались к телевизору бабушка и мать. Бабушка говорила про деда, который погиб в ту войну, а где — неизвестно.

А на площадке, возле самого Огня, уже ставили столики, накрытые красными скатертями,— по одному напротив каждого взвода. И было странно видеть их здесь, на граните, почти игрушечными, стоявшими хрупкими своими ножками под могучей древнекаменной стеной. На скатерти падала крупка утреннего снежка. Да, это был еще декабрь, второй месяц службы.

Командиры взводов — «общевойскового», «летного» и «морского» — вышли из строя, изваяниями встали у столиков.

— Равняйсь! Смирно! — услышал Андрей привычную команду. Но произнесенная, как всегда, хлестко, она предназначалась сейчас не только строю, а еще кому-то другому, ибо в повелительность голоса вплелись нотки уважения.

Вдоль строя шел генерал. Под фуражкой блестела на висках проседь, но держался он молодцевато, да и форма — высокая курчавая папаха, плотно

облегающая шинель, лампасы — красила, молодила генерала. Он дружелюбно кивнул командиру роты, повернулся к строю, поздоровался.

— Дорогие товарищи солдаты! — тихо начал генерал, но тут же возвысил голос, как бы примеряясь к тем, кто его слушал.

Все-таки, наверно, непросто было держать речь здесь, у Огня, у кремлевских стен, на фоне которых даже генерал уже не выглядел таким важным и недосягаемым.

— Сегодняшний день запомнится вам на всю жизнь... Клятву на верность Родине вы даете у Могилы Неизвестного солдата, у этого вечного пламени...

Андрею показалось, что генерал в упор взглянул на него. «Не может быть,— вспыхнул он и опустил глаза.— Откуда ему знать про письмо... Но даже если доложили, он ни разу меня не видел, а в этой шеренге...»

— ...Так пусть же гордятся вами и ваши родители,— донеслось до Андрея.— Мы пригласили их сюда, ваших отцов, матерей, родственников...

«Как хорошо,— подумал Андрей,— как хорошо, что здесь нет матери... Как ей объяснить? Может, меня и вообще не допустят к присяге?..»

Он покосился влево, туда, где по другую сторону Огня робко жалась толпа приглашенных, и не поверил глазам. На самой верхней ступеньке стояла мать, в коричневом своем пальтеце, в повязанном до бровей знакомом зеленом платке. В руке, неловко выпятив перед собой, она держала авоську, из которой высовывались две бутылки молока и початый, отщипанный батон. Грузный краснощекий мужчина в распахнутой дубленке, нахально протискивался вперед, заслоняя мать, а она, привстав на цыпочки, все выглядывала из-за его плеча, беспомощно скользила по шеренгам глазами.

Казалось, она вот-вот доберется до Андрея, но, перебрав, пощупав лица первых двух шеренг, мать опять возвращалась взглядом назад, слепо пыталась дотянуться до последних рядов и стояла теперь беспомощная и растерянная. Это было как во сне: ни позвать, ни крикнуть. Андрей не имел права даже пошевелиться.

«Наверно, мне не разрешат принять присягу! — вдруг забеспокоился он.— Не разрешат, и все. Я же сказал, что не хочу у них...» И Андрей откинулся чуть-чуть назад, одеревенел лицом, изо всех сил стараясь слиться со строем. Пусть не увидит, пусть не узнает мать!

— Звягин! — донеслось издалека.

— Тебя, тебя, оглох, что ли? — сердито подтолкнул Патешонков

— Я! — машинально выкрикнул Андрей и с этой секунды уже не чувствовал себя.

Чужими, непослушными ногами подошел он к столику, взял лист с присягой и только начал осмысливать первую, прыгающую строку, как слева услышал то, чего ожидал и боялся:

— Ан-дре-ей! Андрю-шка!

Перепрыгивая через ступеньки, к нему бежала мать. Почти возле самого столика она поскользнулась и упала бы, если бы подскочивший вовремя майор не подхватил ее под локоть. Словно загораживая от Андрея, повел ее в сторонку, наклонившись к ней, в чем-то убеждая.

— Читайте,— негромко напомнил лейтенант Гориков.

И от этого командирского голоса, от повелительной жесткости в нем Андрей ожил, пришел в себя. Слева плеснул в глаза Огонь.

— Я клянусь...— выговорил Андрей и всей загоревшейся левой щекой ощутил взгляд матери.— Я всегда готов...— Он не видел сливавшихся строк.



Он не помнил, как вернулся в строй, и когда наконец отдышался, успокоился, глазами нашел в толпе мать — а она, словно того и ждала, поймала, перехватила его взгляд, помахала рукой. «Ну, зачем же она сюда с авоськой, с этим батоном?..» — стыдливо подумал Андрей.

Опять исчезли, точно их сдуло, столики. И генерал — улыбающийся, довольный — подошел к приезжим, что жались у Огня, приглашая их ближе к шеренгам.

А сзади, в березах, уже приподнимал, пробовал учтиво, не вспугивая тишины, свои громкие трубы оркестр.

Снова выравнялись по гранитной черте ступенек. Замерли...

— К торжественному маршу...— распевно скомандовал командир роты.

«...а р ш-у-у»,—каменно отозвались вековые стены.

— ...ма-арш! — взлетел восторженный голос.

И его заглушили, раздробили своим рассыпчатым «Ах-х-х!» медные тарелки.

Рота шагнула единым, впечатанным в гранит шагом и замаршировала по прямой, как луч, дорожке к воротам, равняясь направо— на пламя, порхнувшее, дрогнувшее над звездой от этой сотни ударивших залпом сапог.

Напрягая шею, Андрей вытянулся: рядом с генералом, приложившим руку к витому козырьку, стояла, вглядывалась в шеренги мать.

«Мамка-то! Ну, прямо, как маршал на параде!» — восхищенно подумал он.

Постепенно сдерживая, смягчая шаг, рота вышла за ограду, остановилась возле автобусов и распалась, смешалась с толпой. Было разрешено перекурить.

Мать уже стояла рядом, словно шла по пятам.

— Вот ты какой у меня...— сказала она и осторожно, одним пальчиком потрогала золотистую пуговицу.— В каком же звании, сынок? Что-то форма больно нарядна...

Андрей смутился, потупился.

А мать уже копалась в авоське, совсем, как дома.

— Вот бестолковая! — всполошилась она.— Совсем запамятовала. Молочка тебе взяла... Съешь молочка, сынок...

— Да ты что? — совсем оторопел, сконфузился Андрей.— Ты что, мам? — И он в неловкости оглянулся по сторонам.

Подошел лейтенант, из-под земли вырос.

«Сейчас скажет,— ужаснулся Андрей.— И про письмо и про то, как сачковал, не хотел маршировать...»

Но лейтенант козырнул матери, с легким, изящным поклоном произнес:

— Здравствуйте... Варвара Андреевна, кажется?

— Она самая, Варвара,— смутилась мать.

«Откуда он знает ее имя?» — удивился Андрей и опять насторожился.

— Хороший у вас сын,— сказал лейтенант.— Привыкает. Мы им довольны.

Андрей зарделся. «Зачем это, к чему?» — подумал он, охваченный внезапной благодарностью к лейтенанту.

— Спасибо на добром слове,— вздохнула мать и счастливыми, повлажневшими глазами взглянула на Андрея.

Лейтенант опять с улыбкой кивнул и пошел дальше, что-то сказал мужчине в модной дубленке, поздоровался с парнем, державшим разбухший портфель: брат, что ли, к кому?

Мать все держалась за пуговицу и вздыхала, ни о чем не спрашивая, и, простояв так минут десять, переговариваясь по пустякам, они почти ничего не успели сказать друг другу.

Знакомый командирский голос оборвал разговоры, разъединил толпу:

— Кончай перекур, по машинам!

Солдатам, принявшим присягу, и их родственникам было позволено встретиться вечером — всего на полтора часа. Странное чувство испытал Андрей, прогуливаясь с матерью по казарменному двору. В этом было что-то несообразное. Мать, прилаживаясь к его широкому, огрубевшему шагу, семенила в своих маленьких сапожках по асфальту, который еще вчера был так ненавистен Андрею. Своими шажками она словно примиряла сына и плац. Так, во всяком случае, думал Андрей.

И после, спустя месяцы, а потом и годы, он все еще помнил эти легкие, какие-то лесные следы материнских сапожек на белесой поляне, в которую превратился плац под медленным, тающим снежком.

6

Правильно кто-то сказал, что на прошлое мы смотрим, как с горы на оставленную внизу долину: что ближе к нам, то видится отчетливее, что дальше, то теряется в дымке воспоминаний, и этот тысячеверстый, тысячедневный путь становится для нас зримым, когда остается позади. Теперь Андрей мог бы связать в нечто целое, логически стройное многозвенчатую, разрозненную цепочку событий и поступков, год назад еще неясных, непонятных.

В тягостном, полусонном стоянии на вечерней поверке он услышал однажды свою фамилию, повторенную не в привычном списке роты, а отдельно, с особым значением. Интуитивно воспротивясь, он было напыжился, напустил на себя равнодушие, с каким встречал почти каждое замечание, уверенный, что придираются нарочно, как вдруг сбоку жарким, всполошенным шепотом дохнул Патешонков:

— Слышал? Это тебя же! Во встречный строй!

Но окончательно встряхнул Андрея отчетливый завистливый голос Аврусина:

— Во встречный? Звягина? Да у него карабин болтается, как...

Завидовать было чему. Полным признанием готовности солдата к службе в РПК считалось определение во «встречный строй», в тот самый строй, которому от имени всех Вооруженных Сил страны доверено торжественно встречать и провожать на летном поле высоких зарубежных гостей. Но чтобы попасть на аэродром, надо было помаршировать на плацу не меньше полугода.

Если «встречный строй» сравнить с отлаженным механизмом, то каждый прибывший в роту солдат, как новая, поставленная на замену деталь, не должен нарушить четкости работы — наоборот, чем незаметней он «ввинчивался», «впаивался», тем выше оценивалась его строевая подготовка. Трудности наладки этого «механизма» усугублялись тем, что он все время, примерно через каждые полгода, частично заменялся — одни солдаты увольнялись в запас, другие становились на их место; натренированные «старички» привычно выполняли все приемы, новичкам же все давалось с напряжением, их надо было еще «притирать» и «притирать», и делалось это как бы на ходу — рота продолжала нести свою трудную, почетную службу в любое время года, в любой день, в любой час.

Вот эта железная необходимость замены «деталей» на ходу и выработала свою методику строевой подготовки. Нельзя сразу заменить, скажем, полроты или даже полвзвода. Поэтому молодых солдат вводили во «встречный строй» по одному, по два. И в свой ряд их ставили так, что новичок оказывался посредине — между опытными, уже знающими все тонкости службы солдатами.

Андрея поставили во «встречный строй» на три месяца раньше положенного срока

Да, это была настоящая сенсация ротного масштаба. В душе гордясь и смущаясь, Андрей желал теперь только одного — поскорее попасть «на встречу» и доказать Аврусину, что назначение не «прихоть и волюнтаризм командира», как втихомолку утверждал тот, а заслуженный итог, естественное течение службы.

Его назначили в ряд, где направляющим ходил сержант Матюшин. Помнит он стычку на плацу или делает вид, что не помнит? К сержанту давно уже был «притерт» медлительный и молчаливый солдат второго года службы Плиткин. За Плиткиным вместо уволенного в запас Миронова стоял теперь Андрей — под придирчивым оком Сарычева — дотошного и, как считалось в роте, самого талантливого «равняющего».

Всем своим видом, холодными, слегка выпученными глазами, брезгливым поджатием губ (про себя Андрей сразу прозвал его карасем) Сарычев давал понять, что Андрею еще далеко до настоящего «эрпэкашника». Словно самим назначением новичка в строй обидели, унизили лучшего равняющего. У Сарычева была странная манера перемешивать в разговоре русские и украинские слова, хотя вырос он где-то под Воронежем. И это делало особенно едкими и колючими его замечания.

Он так и сказал:

— Ты что же, Звягин, поперед батьки в пекло? — И сам же себе, пренебрежительно дрогнув уголками губ, ответил: — Ну, ладно, нехай. Посмотрим, який ты строевик...

На эти слова Сарычев имел право. Особенно после того случая, который, как легенда, передавался от «старичков» к новичкам.

А было так Высокий зарубежный гость спустился по самолетному трапу, прошел вдоль строя почетного караула, поздоровался и встал на специально отведенное место — дальше по ритуалу встречи рота должна была пройти торжественным маршем.

Перестроились в колонну по четыре и только рубанули по асфальту первым, под оркестр, шагом, как шедший сзади Сарычева солдат в панике вскрикнул: «Сарычев! Ремень! Лопнул!» Весь ряд онемел, а у Сарычева шевельнулись под шапкой волосы, он мгновенно представил, что произойдет дальше: ремень съедет набок, патронташ оттянет его вниз, и все сияющие доспехи солдата роты почетного караула упадут на мокрый асфальт, под ноги. Истоптанные, они будут лежать на виду у столь уважаемых людей. И, может быть, находчивые, жаждущие сенсаций иностранные корреспонденты кинутся фотографировать грязный, измятый сапогами ремень Сарычева, чтобы продемонстрировать всему миру, чего она стоит, хваленая выправка почетного караула, олицетворяющего красоту и мощь Вооруженных Сил Страны Советов.

Это потом разбирайся, почему лопнул ремень,— то ли кто ненароком штыком задел, то ли кто в спешке попытался выправить утром бритву и чиркнул невзначай. Потом наказывай не наказывай, хоть на год на гауптвахту посади — все это уже будет, как говорится, «постскриптум».

Сарычев затаил дыхание и весь как бы перевоплотился в ремень, словно теперь это и было его главной, одушевленной сутью. Солдат, шедший сзади, уверял потом, что он телепатически «держал» ремень Сарычева глазами: приткнул его к спине и не давал сползать!

Рота благополучно, полным строевым прошла мимо уважаемых лиц, и когда уже после команды «вольно» завернула за угол, ремень Сарычева шлепнулся в снег.

Вот такой был случай. Удивительно ли, что среди офицеров роты Сарычев считался «своим», всепрощаемым и почитаемым любимчиком! О солдатах не приходится говорить: слово Сарычева было для них законом. Он мог унизить и вознести до небес.

Андрей пришел на первое тренировочное занятие в тот день, когда рота готовилась к встрече великого герцога. Плац не успевал остыть от шагов, оркестр, едва переведя дух, снова гремел маршами. Они повторяли заходы один за другим — командир роты оставался недоволен.

Даже Сарычев, который за полтора года службы успел встретить трех премьер-министров, двух королей, двух президентов, одну королеву и одного архиепископа, заметно нервничал: видеть великого герцога ему еще не приходилось.

В перерыве, не удовлетворенный короткой справкой-биографией, напечатанной в газете, Сарычев обшарил всю библиотеку и ничего достойного, отвечавшего его запросам не нашел.

— О премьерах — две полки, а о герцогах нэма,— сокрушался Сарычев.

— Герцоги остались те же. Герцог, он и есть герцог,— рассудил Матюшин.

Ему, сержанту, конечно, было виднее, какие они есть, эти самые герцоги.

Матюшин знал вопрос. Успел уже, подковался. Не спеша, как кирпич к кирпичу, выложил:

— Что сейчас это герцогство? Конституционная наследственная монархия. Глава государства именуется великим герцогом. У них эта самая... палата депутатов. А герцог утверждает и закрывает ее сессии, он — исполнительная власть. Министры же вроде советников «короны». Между прочим, этот герцог считается у них верховным главнокомандующим...

Матюшин помолчал, что-то припоминая, и назидательно поднял палец:

— Учтите, согласно конституции, особа великого герцога считается священной и за свои действия он ни перед кем не отвечает

— Вот это права... А сколько за них платят?

Матюшин и это знал.

— Великий герцог ежегодно получает на содержание от государства триста тысяч золотых франков. Эта сумма специально оговорена конституцией. Не считая ассигнований герцогскому двору...

— Во цэ гарна должность! — присвистнул Сарычев.

— Сударь,— раздался вдруг над ними голос,— не угодно ли вам будет взять метлу и подмести окурки?

Лейтенант Гориков — и откуда только появился — насмешливо смотрел на Андрея.

— А почему, ваше величество, вы думаете, что это я разбросал?

«Ваше величество» — это была, конечно, дерзость. Андрей рисковал, но лейтенант принял юмор

— Соблаговолите выполнить приказание,— повторил он.

«Ему понравился мой ответ»,— с гордостью за свою выходку подумал Андрей и кинулся за метлой.

Делом одной минуты было смахнуть окурки в бачок. Приставив метлу, подобно карабину, к ноге, Ан-

дрей отвел ее вправо — по-старинному «на караул» — так стражники приветствовали у входа во дворец королей.

— Ваше величество, ваше приказание выполнено!

— Вы бы лучше с карабином поупражнялись,— нахмурился лейтенант... Но сквозь серые щелочки глаз, как тогда в вагоне, блеснула ирония.— Покажите, Сарычев... Тройной!

«Тройной?» — в уставе Андрей такого приема не помнил. Сарычев с удовольствием взял карабин, примкнул штык и, скомандовав самому себе: «На кра-ул!»,—неуловимым движением перевернул карабин вокруг себя—только молния стальная мелькнула слева-справа — и замер.

— Тройной с обхватом! — выдохнул после паузы Сарычев. Он посмотрел на Плиткина, на Матюшина, на лейтенанта, ища одобрения, и вдруг повернулся к Андрею.— Повтори!

Андрей смутился. Даже и пробовать не стоило личный, изобретенный Сарычевым прием. И тут вспомнил: в школе только он один из всего десятого «Б» мог по всему коридору, балансируя указкой на пальце, пронести на ее кончике кусочек мела.

Андрей огляделся, нашел камешек, положил на мушку карабина и, скомандовав себе: «На пле-чо!»,— пошел по плацу строевым шагом, глядя прямо перед собой. Он нес карабин «свечкой», по всем правилам, так, чтобы тот не касался плеча, и все ждал щелчка об асфальт. Рука пружинила, немела, но камешек каким-то чудом держался. Андрей повернул назад, вплотную подошел к Сарычеву, приставил карабин к ноге и снял с мушки камешек.

— Браво, Звягин! — хлопнул ладонями лейтенант и, взглянув на часы, пошел на середину плаца.

Это панибратское, штатское «браво», прозвучавшее в устах командира как поощрение, Андрея смутило.

— А шо? Притираешься.— обронил Сарычев.

И по грубовато-небрежной фразе этой Андрей понял, что принят в ряд «встречного строя» окончательно.

— Становись! — разнеслось над плацем.

Тренировка «к встрече» продолжалась. Все повторялось, все начиналось сначала, но в этом надоедливом однообразии уже прояснялась для Андрея какая-то осмысленность, какая-то цель.

Оркестр, как заводной, играл марши, а они ходили и ходили по плацу, равняясь на воображаемых высоких гостей,— в колонне по четыре, единым, как вдох и выдох, шагом почти двух сотен сапог. Взмах рук, секундная задержка на сгибе, у груди, и до отказа — назад. Словно и впрямь какой-то особой точности механизм отлаживал командир роты. Или нет, он был еще больше похож на скульптора, который из живой, движущейся массы солдат лепил лишь ему видимое произведение искусства.

— Рыжов, корпус вперед, иначе карабином задираете полу!

— Смагин, не опускайте подбородок!

— Лямин, где у вас рука?

— Чернов, грудь!

Командир роты бежал за ними, обгонял, отставал, приглядывался, отступая на шаг-другой, и снова приближался, иногда даже до солдата дотрагивался: ему нужен был тот самый строй, на который с нескрываемым восхищением заглядываются и приезжие и отъезжающие зарубежные гости.

— Стой-й! И не шевелиться!

Никто и не шевелился. Только сердце не останавливалось: «бух-бух» — в груди, «бух-бух» — в висках.

— Вольно!



Нет, недоволен был командир, вроде бы даже расстроен.

— Направляющие не равняются в затылок, карабины болтаются. Карабин — это же... Вся красота в карабине. Надо держать «свечкой». Даже чуть-чуть наклонить вперед. Чтобы он парил! И весь строй — не топот, нет! Представьте, вы летите... На взлете... Под марш...

Походил вдоль строя, остановился напротив.

— Звягин! — проговорил командир, как бы извиняясь, не хотелось, как видно, делать замечание.— Звягин, вас касается. Что главное в строевой? Руки, ноги, голова. Три составные. Их надо координировать в движении. Вы же увлекаетесь рукой — забываете про ногу. Потом подбородок... Палочку, что ли, подставлять? А рот? Не закрывается? Возьмите спичку в зубы...

Сарычев глядел понуро, чувствовал себя виноватым. И Матюшин с Плиткиным стояли, устало опершись на карабины, как на посохи. Вот тебе и новичок...

Может, они и не об этом думали. Но Андрей так понимал, так расшифровывал их молчание.

«Не возьмут,— холодел он от предчувствия.— Не видать мне встречи. Вот будет радость Аврусину!»

И снова раздавалось на плацу бряцанье карабинов, и снова командир шагал старательнее солдата, держа шашку «под эфес». И гремел, задыхался в ликующем марше оркестр.

Не торопясь, с державным достоинством шел к роте высокий гость, сам великий герцог в лице лейтенанта Горикова.

Лейтенант серьезен и глазом не моргнул. Взглянул небрежно на отдавшего рапорт командира роты, кивнул и пошел дальше, вдоль строя.

Андрей чуть не прысиул. Лейтенант — герцог... Но почему остальным не смешно? Замерла, сдвинулась плечами рота, только глаза справа-налево, справа-налево, в лицо, вслед гостю.

И опять: «Разойдись!» И опять: «Становись!»

Нет, они не просто ходили. Строй РПК был занят сейчас очень трудной, кропотливой, непостижимой для Андрея по своему смыслу и результату работой. Печать какой-то тайны лежала на лицах солдат, отсвет чего-то только ими видимого, но сокрытого от него. Почему уже тогда, к вечеру, после занятий, Андрей сам понял, что еще не годится для встречного строя?

Лейтенант Гориков сказал то, о чем Андрей уже догадывался:

— Отставить, Звягин, в следующий раз... Понимаете, чуть-чуть... Отмашка...

О, этот торжествующий взгляд Аврусина, оказавшегося рядом!

После отбоя в синем полумраке дежурного света всплыло лицо Сарычева.

— Трэба шлифовать шаг...—дружески подмигнул он.

Только через два месяца Андрея взяли на первую в его жизни встречу. В Советский Союз с официальным визитом прибывал президент великой державы.

7

— Расслабьтесь, расслабьтесь...— озадаченно хмурился Гориков, прохаживаясь вдоль шеренг, построенных на плацу за два часа до выезда на встречу.

И правда — все как будто застыли, онемели; приклады карабинов не ощущались в деревянных ладонях, колени, словно стянутые обручами, не хотели гнуться. Перетренировались, переходили — всю неделю с утра до вечера маршировали на плацу.

— Это всегда так,— чуть подтолкнул Андрея локтем Матюшин.— Как перед первым раундом, а потом, на аэродроме разогреешься — хоть выжимай.

Во время перекура Гориков остановил торопливо пересекавшего плац Патешонкова — до сих пор во встречный строй его еще не поставили, и, чудак, надулся, даже глаза не поднял, обижался.

— Тащите-ка гитару... Для разрядки,— попросил Гориков, скрывая в голосе вину. В самом деле — почему бы и Руслана не взять на встречу?

И может, мелькнула у парня робкая надежда, обернулся мигом.

Руслан чиркнул пальцами о струны, легонько, подражая барабану, пристукнул ладонью о деку, и Андрей сразу узнал песню о встречном строе. Полгода назад в роте этой песни не было и в помине. И хотя Руслан почему-то категорически скрывал свои авторские права, все знали, кто поэт, кто композитор.

Андрей перехватил взгляд лейтенанта — как тогда, в вагоне Гориков влюбленно смотрел на отбивающие такт, как бы живущие сами по себе, хозяйничающие на струнах пальцы Руслана: «Шаг, шаг — шаг, шаг...»

Солдаты страшной той войны
Под обелисками уснули.
И, заучив пароль весны,
Их внуки встали в карауле.

Хотелось подпевать, шагать и разглядеть то, что видел только Руслан своим устремленным мимо, вдаль, поверх окруживших его солдат взглядом.

Под снегом стой, под ливнем стой!
Бессменной будет должность эта.
На летном поле замер строй,
На теплом полюсе планеты.

Тонкие, но крепкие пальцы снова дробно промаршировали по деке, отбивая ритм припева, грустные глаза Патешонкова осветились изнутри радостью, и теперь не лейтенант Гориков, а он, гитарист, был главным в солдатском кругу, таким главным, как если бы шел впереди роты.

Мы в мир зеленый влюблены,
А если что случится, если —
Смотри: солдаты той войны
В шеренгах юности воскресли.

Да, в ту минуту Руслан был очень похож на лейтенанта, и весь его облик выражал что-то такое, живо напомнившее разговор Андрея с Гориковым накануне.

...Словно спохватившись, вспомнив о чем-то перед самым отбоем, Гориков повел Андрея в канцелярию роты.

«Опять нотация?» — раздраженно поежился Андрей, хотя точно знал, что на встречу президента поедет обязательно — списки почетного караула были утверждены.

В канцелярии Гориков молча достал из шкафа альбом с красочной, витиеватой надписью «История РПК» и, сразу же раскрыв на нужном месте, положил перед Андреем.

— Посмотрите,— сказал Гориков.— Знаете эту фотографию?

Андрей взглянул на большой, почти во всю страницу туманный снимок, наверное, увеличенный с оригинала: шеренга наших солдат в длиннополых шинелях и шапках-ушанках, какие носили во время той войны, стояла, держа винтовки в положении «на

караул», перед высоким и грузным, чуть сутуловатым человеком в козырькастой морской фуражке. «Адмирал, что ли, какой-то?» — подумал Андрей.

Ничего особенного на снимке не было, но в глаза бросались уж слишком открытые и добродушные лица наших солдат. У одного из них, курносого, толстогубого и, наверное, смешливого, как Линьков, вид был такой, словно это его самого встречал с почетом проходящий мимо шеренги гость. Знай, мол, наших! Но нет, гость был высокий не только ростом. Глаза этого человека в морской фуражке не были видны, вернее, виднелся только краешек глаза, но по всей фигуре, наклоненной к строю, чувствовалось, что наших солдат он рассматривает пристально и придирчиво

— Третье февраля сорок пятого года,— сказал Гориков — Ялтинская конференция. Глава английского правительства Черчилль обходит строй почетного караула...

Теперь что-то бульдожье, цепкое, желающее схватить мертвой хваткой мелькнуло в лице этого человека. И странно незащищенными показались лица солдат. Особенно вот этот, толстогубый,— сейчас мигнет не сдержится и улыбнется

— Обратите внимание, это Черчилль... Прямо забирается, лезет в глаза... Когда его спросили, почему он так внимательно разглядывал наших солдат, он сказал, что хотел разгадать, в чем секрет непобедимости Советской Армии...

Командир роты. туго перетянутый лоснящимися ремнями, с тяжелой шашкой на боку, в сапогах с негнущимися, лакированными голенищами, казался выше ростом, еще большую строгость придавала лицу излишне надвинутая на лоб фуражка, тень от козырька падала на глаза. Острый, ощупывающий его взгляд перебрал каждую пуговицу, пробежал по перчаткам, прочертившим вдоль шеренг белую линию, по носкам сапог, образовавшим на асфальте черную, безукоризненно ровную зубчатку.

Он ничего не сказал — все было сказано вчера, на контрольной репетиции — и только лишь для порядка, а быть может, для того, чтобы размять голос и размягчить скованность, опять овладевшую шеренгами, подал две-три команды.

В небе прогремел самолет. Потом все стихло. И теперь уже турбинный, свистящий звук заметался ниже и ниже...

— Напра-во! Шагом марш! — скомандовал майор тихо, с незнакомой учтивостью, и все поняли: самолет приземлялся тот самый, с президентом.

Они прошли шагов тридцать. и за углом двухэтажного дома открылось летное поле.

Андрей никогда в жизни не бывал на аэродроме и удивился необычайно широкой, какой-то даже степной его пустынности. Если бы не бетон, тянувшийся почти до горизонта, и не вертолет, устало опустивший лопасти и подремывающий невдалеке, то и впрямь — степь.

Ветер гулял здесь свободно, и двое впереди Андрея сразу же схватились за фуражки, затянули на подбородках ремешки.

Семенящим, сдержанным шагом вышли на бетонную полосу, слева разноцветно полыхнули флажки,— за свежевыкрашенным барьерчиком молчаливо колыхались толпы встречающих.

— Стой! — приглушенно скомандовал командир, и Андрей заметил, что рота встала точно поперек взлетной полосы. Невдалеке сверкнул стеклами аэровокзал.

Самолет появился неожиданно. Посвистывая, словно отдуваясь, он серебристо возник рядом, невесомо скользнул по бетону и, мелко подрагивая крыльями, подрулил к шеренгам — это они обозначили черту, возле которой ему надлежало остановиться.

Андрей так и не понял, то ли они подошли, подравнялись под крыло, то ли крыло само нависло над ними.

К дверце «Боинга» лихо подкатил, приник трап с наброшенной на ступени красной ковровой дорожкой.

Командир роты встал спиной к самолету, лицом к шеренге, скомандовал «Смирно!» и сам замер, ловя звуки приближавшихся от аэровокзала шагов.

«Как же он увидит, когда надо командовать?» — забеспокоился Андрей, заметив в группе подходивших к самолету людей очень ему знакомых.

Он помнил их по портретам, но вот так, в десяти шагах, видел впервые и очень удивился сходству Но еще больше поразился простоте и естественности, обычности человека, которого знала вся страна. В нем не было ни чопорности, ни холодной натянутости официального, облеченного государственными полномочиями лица, встречавшего столь важного и высокого гостя; он шел неторопливо, с кем-то переговариваясь и в то же время успевая приветливо помахать рукой уже начинавшей бурлить толпе.

Советский руководитель приблизился к трапу ровно в тот момент, когда открылась дверца и в ней показался президент великой державы.

И его Андрей узнал сразу, только был он чуть помоложе, чем на портретах, а может, эту моложавость придавала ему порхнувшая по ступеням жена, еще юная и обаятельная на вид.

Толпа сомкнулась, вспыхнули «блицы» фотоаппаратов, застрекотали кинокамеры.

Выждавший еще с минуту и угадавший каким-то особым чутьем нужный момент, майор скомандовал:

— На кра-ул! — И одновременно с этими словами, повернувшись кругом, с шашкой «под эфес», строевым шагом, оттягивая носки сапог, пошел навстречу отделившимся от толпы советскому руководителю и зарубежному президенту.

Прогремевший «Встречным маршем» оркестр словно запнулся на полуфразе.

— Господин президент!

«Господин президент!» — откликнулся эхом аэродром.

— Почетный караул от войск Московского гарнизона в честь вашего прибытия в столицу Советского Союза город-герой Москву построен!

«Построен!.. ...строен!» — восторженно повторили стены аэровокзала.

«Он совсем не волнуется! Спокойно отчеканивает каждое слово»,— с чувством внезапного уважения, граничащего с любовью, подумал о майоре Андрей.

Президент стоял, слегка склонив голову, вслушиваясь в каждую фразу рапорта. Был он одет в легкий серый костюм, свободно и небрежно застегнутый на одну пуговицу; синий галстук подчеркивал белизну сорочки,— и весь этот непритязательный наряд, вежливая манера внимательно слушать как бы равняли его с остальными.

Советский руководитель смотрел на майора подругому — по-свойски доброжелательно, как на офицера, которого давно знал и с которым часто в подобных случаях встречался.

Отсалютовав шашкой, майор повернулся влево, уступая президенту дорогу, и Андрею почудилось, будто далеко-далеко прозвенели струны Руслановой гитары.

Президент шел прямо на него...

Плавно закруглился горизонт, и Андрей почувствовал, что стоит на земном шаре. Рядовой роты почет-

ного караула, солдат первого года службы Андрей Звягин от имени и по поручению Советского Союза встречал президента великой державы. И не струны Руслановой гитары, а фалы, тонкие тросики звенели на высоких мачтах, и флаги двух держав трепетали, плескались на упругом заморском ветру.

И уже не на аэродроме, а во чистом поле стоял богатырь Андрей — в кольчуге и шлеме, с сияющим мечом в руках — и прямо на него, не сводя ощупывающих, с зеленоватым, заморским блеском глаз, шел высокий гость из-за тридевяти земель, из-за тридевяти морей. Андрей держал оружие не в том положении, с каким встречают врага, а «на караул», в жесте дружелюбия и мира, и вся земля советская стояла за ним — и родной поселок с наклоненными над прудом вербами, и Кремль с негаснущими звездами, и мать в своем присыпанном блестками снега пальтеце, и майор, затянутый в сияющие ремни, и даже вот тот, с государственным именем, знакомый по портретам человек,— все стояли за Андреем, надеясь на него, наблюдая, как он поведет себя: дрогнет ли, опустит ли глаза..

Президент подошел совсем близко. Нет, он выглядел все-таки старше, чем издалека. «Ну, взгляни, взгляни на меня»,— загадал Андрей и чуть не отпрянул, вспыхнул — президент смотрел на него.

Он смотрел недолго, лишь секунду-другую, но задержалась, отдалась в сердце пристальность чуждого взгляда с затаенным где-то на самом дне зеленоватых глаз любопытством.

Наклонившись к переводчику, президент с улыбкой о чем-то сказал

Переводчик, молодой, расторопный парень, повернулся к советскому руководителю.

— Господин президент говорит, что очень доволен выправкой. Отличные парни, превосходный караул.

— Я благодарю гостя,— усмехнулся советский руководитель.—Переведите ему, что было бы очень хорошо, если бы на всей земле остались только роты почетного караула...

— О да! О'кей! — просиял президент и приложил руку к груди.

Они пошли дальше, к толпе, зовущей их трепетом разноцветных флажков.

Остальное Андрей припоминал потом смутно, словно это происходило во сне или с кем-то другим: гулко, в самую душу бил барабан, а рота, перестроясь в колонну по четыре, шла,— нет, не шла, а летела над бетонными плитами в торжественном марше, и Андрей все опасался, что вдруг, как у Сарычева, у него лопнет ремень или заденется, зацепленная карабином, пола шинели; но в те несколько секунд, пока белесо мелькнуло лицо президента, ничего не случилось, по команде «Вольно!», раздавшейся глухо, как из-под земли, рота глубоко вздохнула, сразу спружинила шаг, и Андрей опомнился уже возле курилки — Матюшин неловко совал ему в рот сигарету.

— Ну, что? С крещеньицем, Андрюха!

Переполненный нахлынувшей благодарностью, чувством необыкновенной праздничности, Андрей только и смог спросить:

— Как?

— А ничого, гарно, як в балете! — засмеялся довольный Сарычев.

«Какие они славные — и Матюшин, и Сарычев, и... командир роты»,— подумал Андрей, радуясь этому знакомому и новому чувству только что с успехом сданного экзамена. Он не знал, что главный экзамен ждал его впереди.

8

— А ты везучий, Звягин,— завистливо вздохнул над тарелкой борща Патешонков.— Надо же, встречал президента... На что Аврусин — и то не взяли. Теперь ты эрпэкашник. Огни и воды и медные трубы... Тебе майор не родня случайно? Или другая протекция?

Матюшин и Сарычев, сидевшие напротив, одним движением («И тут, как на плацу!» — усмехнулся Андрей) придвинули тарелки с макаронами и, словно по команде, нацеленно тюкнули вилками — тирада Руслана не произвела впечатления. Молчал и Андрей, хотя подначка друга польстила.

Сарычев поклевал вилкой по донышку опустевшей тарелки (и когда только успел!), нахмурился, поводил бровями.

— Воды и медные трубы, оно, конечно... А шо до огней, то трэба разжуваты...

Андрей поднял от своей тарелки глаза.

— То есть?..

— Перевожу,— серьезно пояснил Матюшин, и в его мягкий голос прокрался жестковатый, знакомый по занятиям на плацу командирский холодок.—Сарычев имеет в виду Вечный огонь... Вот когда постоишь у Могилы Неизвестного солдата, тогда будешь полный солдат РПК...

«И что особенного? — с неприязнью подумал Андрей — Что они все кичатся этим постом? Ну, час стоять, четыре бодрствовать... Так это же сплошное удовольствие—в центре Москвы, в Александровском саду. Как говорится, на людей посмотреть и себя показать...»

Он вспомнил строгую нарядность площадки возле Вечного огня, серебристо-узорчатые, как на морозном стекле, кружева инея на гранитных ступенях, жарко струящееся, журчащее пламя над прикопченной бронзовой звездой; от этого пламени подтаивало вокруг, хотя морозец тогда был знатный. Но присягу-то они принимали в декабре, а сейчас май, и там, небось, как в парке, трава, листья, цветы.

— А кто все-таки там лежит? — осторожно спросил Андрей, опять представив ту площадку, как бы просевший мрамор ниши, черную, в серых блестках, глухую, но совсем не похожую на кладбищенское надгробье плиту. Наоборот, чем-то жизненным, привычно светлым, как в дворцах метро, веяло от этого мрамора.

— Кто там, как вы думаете? — повторил Андрей.

— Неизвестный солдат,— сдвинув брови и немигающе глядя куда-то мимо тарелки, проговорил Сарычев — Неизвестный.

Матюшин отложил ложку.

— Его в шестьдесят... по-моему, в шестьдесят шестом похоронили под Кремлевской стеной,— произнес он с таким видом, как будто сам лично присутствовал на похоронах.— На бронетранспортере привезли из-под Крюкова. И наш караул сопровождал...

— В шестьдесят шестом? — переспросил Андрей и вспомнил однажды виденное, но давно забытое.

Кто-то из ребят принес в школу две ржавых, осыпающихся темной окалиной гильзы, алюминиевый портсигар со слипшейся, будто оплавленной крышкой и полуистлевший помазок для бритья — каких-то несколько волосинок кисточки, зажатых в почерневшей медной ручке. Принесенное было найдено в обвалившемся, старом окопе, но больше всего Андрея поразили тогда не разговоры с владельце этих предметов, смутные предположения о его гибели, приглушенно возникшие тут же, а сами гильзы, портсигар и помазок, нелепо и странно, как свидетельства с другой планеты, лежавшие на учительском сто-

ле. Даже иет, не гильзы, будто еще источающие острый запах пороха, и не пустой, смятый, как папиросиая пачка портсигар,— Андрей ие мог отвести глаз от помазка, быть может, за час перед боем касавшегося живых щетинистых щек. Что-то необъяснимое, несправедливое, не соответствующее логике заключалось в том, что помазок, ну если ие жил, то все-таки существовал на зтом свете, тускло поблескивал медной, кругловатой, как груша, ручкой, из которой выглядывала, словно прорастала рыжеватая кисточка, а человека, хозяина зтой вещи, уже не было на свете....

— Ои погиб под Москвой... Понимаешь, погиб. — Сарычев заговорил быстро, горячо, словно в чем-то убеждая и самого себя:— Там же страшные бои были... Восьмая гвардейская Панфилова, таикисты Катукова, кавалеристы Доватора... Они ие пустили врага к Москве...

Матюшин, все зто время сидевший задумчиво, твердо произнес:

— В Александровском саду он за всех похороиен... За всех известных и неизвестных...

Оии помолчали. Почему-то не хотелось притрагиваться к компоту, хотя вот-вот должна была прозвучать команда «Встать!» — второе отделение, сдвинув пустые тарелки и кружки на край стола, иетерпеливо поглядывало на дверь.

— У него ведь и мать и отец еще живы...— с грустью проговорил Патешонков, потянувшись за фуражкой.

— Возможио,—согласился Матюшин, и хмурое лицо его разгладилось воспоминанием.— Нам сверхсрочник рассказывал, уже уволился... Он тогда солдатом был в нашей роте, в почетиом зскорте шел. Помнишь, Сарычев?

Сарычев помнил, кивиул.

— Они же тогда от Белорусского вокзала до Алексаидровского сада сопровождали гроб... Строевым шагом, с карабинами, по улице Горького... Народу — тьма, по тротуарам оцеплеиие. А напротив «Маяковской» какой-то дед прорвался — и к лафету... «Мой,— говорит,— мой сын»,— и все... Ему и так, и сяк — ни в какую! Пристроился и шел за лафетом до самой площади...

— А потом какая-то женщииа...— иапомиил Сарычев.

— Да-да... Многие были в чериых платках... Как будто знали, что по улице Горького...

— А вы сами-то стояли у Могилы?—спросил Андрей, с робким, но уже родившимся в душе решеиием.

— Я три раза,— с несвойствениой ему горделивостью сказал Матюшин.

— А я два,— скромио обронил Сарычев.

И тут они словно отдалились, какое-то непонятиое отчуждение отодвинуло этих двоих, стоявших иа посту у Вечного огня и, значит, знавших нечто такое, что было недоступно Андрею и Патешонкову.

— Помнишь того, с тюльпанами? Ну, который в старой гимнастерке приходит?

— Как же... Он сначала обойдет пилоны, и по цветку — Лениииграду, Бресту, Волгограду. А еще, когда мы в паре с тобой стояли, старушка положила кусочек булки и крашеное яйцо...

— Кусочек кулича,— поправил Матюшин.

Матюшии и Сарычев, сидевшие рядом, как будто переиеслись в другое измереиие, как бы в иную плоскость бытия, невидимую Аидрею и Патешонкову. Вот так в полумраке зрительного зала, иа лицах, выхваченных голубым лучом и как бы им посеребренных, отражается происходящее на экране.

— А в тот раз...— обращаясь теперь ие только к Сарычеву, но и к Андрею, к Патешонкову, все оживляясь, проговорил Матюшин,—подходит мужчина, весь в медалях. Отцепил одну и положил рядом со звездой...

— Это многие делают,— подтвердил Сарычев.— А старушку видел? Как одуванчик, седенькая, при мне минут двадцать на коленях простояла...

— Тяжкое дело,— сказал Матюшин, опять помрачнев.— Самый тяжелый пост...

— Так в чем же все-таки трудность? — недоумевая, спросил Андрей.— Подход по дорожке? Или чтоб не шевелиться?

Матюшин и Сарычев переглянулись, и оба посмотрели на Аидрея, как на человека, которому битый час объясняли очевидное и понятное.

— Рота! Встать! — раздался голос лейтенанта.

Все оставшееся после обеда время Андрей мучительно раздумывал над услышанным. «Старички», конечно, важничают, задаются. Но тут было и другое, что Андрей давно подметил, ио никак не мог себе объяснить. Он ясно видел: солдаты, чей срок службы перевалил за первый год, вели себя так, словно действительно обладали очень важной, зашифрованной от новичков тайной. И правда, для чего бы зто они старались — иабивали на пятках мозоли, в кровь сбивали прикладами руки — только для того, чтобы поровнее пройти?

Но самой большой, непонятной, призрачно мерцающей в пламеии Огня тайной было окружено гранитное возвышение возле древней Кремлевской стены.

Кто же это говорил? Кто же это говорил, что в двенадцать часов ночи к Вечному огню приходят иа поверку все неизвестные солдаты?..

«Я должен там стоять. Должеи. Обязательно!» — сказал себе Андрей. И спохватился — до Девятого мая оставались считаные дни.

Каждый вечер, в час, отведенный для личных надобностей, уже целое отделение тренировалось возле специального макета Могилы Неизвестного солдата. И четыре смены, назначениые в почетный караул, готовил не кто-иибудь, а Матюшин.

Сооружение из фанеры мало чем напомииало гранитные ступеии, а Огня и вообще не было, и всякий раз, проходя мимо, Андрей немало дивился, с каким старанием солдаты выполняли строевые приемы.

«Артисты,— восхищался он.— Ну, прямо артисты. Это надо же так сыграться!»

Он долго присматривался к длииному и тощему Лыкову, который заступал в почетный караул впервые, хотя и прослужил в роте больше года, и ничего выдающегося в его движеииях и поворотах не обнаружил.

«Пожалуй, и я так смогу!» — подумал Андрей и попросил у Матюшина разрешения встать очередиым в следующую пару.

— Попробуйте,—без воодушевления позволил Матюшин.

Все силы, все, чему успел научиться за зти месяцы, Андрей как бы переместил в руки, перебрасывающие карабин, в ноги, шагающие в такт разводящему.

С первого захода по команде «Стой!», обозначенной стуком приклада об асфальт, у него не совсем синхронно с напарником получился поворот, и это секундное несовпадеиие не ускользнуло от Матюшина.

— Резче! — поправил он.— Резче! Вы же у Могилы Неизвестного солдата, Звягин...

Он разрешил Андрею еще заход, и, кажется, получилось — замечаний не было.

— Ну, как, товарищ сержант? — спросил Андрей.

Матюшии, не оборачиваясь, вцепившись взглядом в другую, замершую по его команде пару, сказал:

— Неплохо. Только вы не о том, о чем надо, думаете, когда идете..

— А в принципе? В принципе?

— В принципе подход и отход правильные,— уклончиво ответил Матюшин.

«Я же не артист, чтобы перевоплощаться»,— обидевшись на сержанта, подумал Андрей.

С затаенной надеждой вошел он в кабинет командира роты.

Гориков тоже еще не ушел, сидел на привычном месте возле книжного шкафа.

«Поддержка с фланга»,— обрадовался Андрей и не успел открыть рта, как майор, встав из-за стола, предупреждающе поднял руку, перебил.

— Я видел, все видел в окно,— сказал он.— Молодец, Звягин, отлично..

— Ну, так...— забыв, что стоит перед командиром, совсем по-штатски развел руками Андрей и улыбнулся.

— Рано вам еще...— с обезоруживающей ласковостью произнес майор.

— Как рано? — смутился Андрей.— Я уже умею! Вы же видели...— и вытянулся, прижал руки, стараясь казаться выше.

— Не-льзя...— упирая на «не», проговорил командир.— Это высшая честь, Звягин... Понимаете? Высшая.

«Он мстит за письмо министру»,— обозленно подумал Андрей и уже повернулся, пошел к выходу, как вдруг на полшаге был остановлен голосом Горикова:

— Минуту, Звягин! Товарищ майор! Может, его под знамена?

Андрей обернулся.

— Хорошо,— сухо согласился майор.— В порядке исключения.

9

На встречу ветеранов прославленной дивизии в почетный караул у боевых знамен командир роты назначил Звягина, Патешонкова и Сарычева. Старшим шел Матюшин. Под его сержантским попечением они должны были доехать на метро до Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, там найти у входа отставного полковника, одетого в штатский серый костюм. Еще одна отличительная примета — красная повязка на левом рукаве. Полковник и проведет их к месту встречи ветеранов — на летнюю эстрадную площадку возле «Зеленого театра».

Народу было — не протолкнуться, но с краю массивной колоннады они сразу увидели того, кто им был нужен; отставной полковник оказался довольно еще молодым на вид, может, оттого, что подстрижен был под бобрик, как боксер, и эта короткая ершистая прическа словно бы умаляла авторитет его сплошной седины. Он обрадованно, как будто давно их знал, кинулся навстречу, пожал, потряс руки и торопливо повел за собой по красноватой, посыпанной кирпичным крошевом дорожке в глубь парка.

Всюду — по дорожкам и аллеям — расхаживали, сидели на скамейках пожилые люди, принаряженные, как на праздник, несколько раз им повстречались мужчины в старых, застиранных, вылинявших гимнастерках, а кое-кто облачился даже в полную парадную форму времен войны, которая была уже не по плечу — топорщилась, казалась слишком тесной.

То тут, то там раздавался радостный вскрик — и пожилые, солидные люди, позванивая гирляндами орденов и медалей, сверкавшими на пиджаках, бежали навстречу друг другу, кидались в объятия.

Непонятное было ощущение— в этом парке, исхоженном тысячью ног, расчерченном на скверы и газоны, пронизанном аллеями и дорожками, в этой пестрой, раскрашенной круговерти люди искали друг друга, как в дремучем лесу. И чтобы они обязательно встретились, почти на каждом повороте и перекрестке была установлена стрелка-указатель, на ней значились названия армий, дивизий и полков. И в этом тоже было что-то невероятное, словно парк культуры и отдыха вдруг оккупировали несметные воинские части и скрытно в нем расположились.

Одна из таких стрелок с названием гвардейской дивизии привела их на открытую эстрадную площадку. Все лавочки — от первой до последней уже были заняты точно такими же пожилыми людьми, какие встречались на пути сюда. Они сидели тихо, в ожидании, неторопливо и негромко переговариваясь. Отставной полковник завел их за эстраду, поманил за собой.

Темно-красное полотнище, кое-где порванное и уже истлевшее, словно подпаленное по краям, тяжело развернулось на отполированном древке, и Матюшин ловко его подхватил, когда отставной полковник, видно, не рассчитав силы, чуть было не уронил, высвобождая одной рукой из чехла.

— Сарычев — знаменщиком, Патешонков и Звягин — ассистентами,— тут же распределил обязанности Матюшин, передавая знамя Сарычеву.

Тот привычно взялся за древко, потянул вверх-вниз, попробовал знамя на вес, чтобы угадать, как удобнее нести, и, перекинув полотнище влево, встал, приготовился, ожидающе глянув на отставного полковника.

— Пора! — сказал отставной полковник и помахал кому-то в глубине эстрады; тут же щелкнуло, зашипело в репродукторе, и сверху обрушилась, загремела песня: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой..»

Сарычев отлично знал весь порядок, весь ритуал. Выйдя из-за эстрады, он не стал подниматься кратчайшим путем на сцену, а обошел сначала всю площадку — до последних рядов, и только потом, по проходу начал возвращаться назад. Андрей шел слева от него, изо всех сил стараясь попадать в ногу, стиснув зубы — почему-то дрожал, отвисая, подбородок,— идти было неудобно, слишком узок оказался проход, да к тому же все встали, близко толпились, мешали идти.

Сцена тоже была полна За накрытым красным столом стояли люди в штатском и военном, и хотя лица сливались, Андрей почувствовал, что все смотрят на них, несущих знамя.

Он почти не слушал команд, которые отрывистым шепотом подавал Сарычев. Стараясь попадать в ногу, они поднялись по ступенькам и встали за столом президиума в глубине сцены.

Андрей вгляделся. Народу собралось уже много — все места были заняты, кое-кто даже стоял, прислонившись к ограде. Но больше всего Андрей удивился как бы исходящему из передних рядов металлическому мерцанию — никогда он еще не видел так много орденов и медалей.

От зрительного зала Андрея отделял президиум — в двух шагах теснились, горбились спины, и невольно бросалось в глаза, как много собралось вместе седых людей И было что-то трогательно-смешное в том, что люди эти, с одышкой одолевавшие ступени, грузно занимавшие стулья, называли друг друга Петями, Вовами, Сережами. Словно они по-своему, по-стариковски дурачились, вспоминая давнишнюю, детских лет озорную игру,

Но вот со своего, как видно, председательского места поднялся тощий, узкоплечий мужчина, сутуловато, вопросительным знаком наклонился над столом, пощелкал пальцем по микрофону, что-то сказал. На худой, недавно подстриженной шее розовато проступили пятна. В микрофоне скрипнуло, зашуршало, и голос стал слышнее, отчетливее.

— Вот посмотрю я вперед,— покашливая, сказал тощий мужчина и повел перед собой рукой.— Посмотрю в зал, и кажется: как было нас много, так и осталось. А ведь это не нас, не нас.. Незнакомые все лица. Зрителей, значит, больше...

Забулькал графин. Тощий мужчина отпил глоток и обернулся к президиуму. На какие-то секунды обернулся, и Андрей сразу заметил: на стареньком кителе — орден Ленина, три Красного Знамени и медалей — сплошной слиток.

— А, посмотрю назад,— осевшим голосом продолжал мужчина,— посмотрю назад: ребят наших все меньше и меньше. Редеют ряды. На первой встрече, в пятьдесят пятом, восемнадцать человек сидели в президиуме, а сейчас — десять. Только за этот год троих потеряли. А ведь придет день, когда кто-нибудь из нас и в зале-то останется один...

— Когда-нибудь вообще никого не останется,— заворочался на стуле прямо перед Андреем полный, с блестящей лысиной мужчина.

— Вообще ни одного участника войны,— уточнил профессорского вида старик в очках.

— Участник войны — понятие растяжимое. Всем досталось А рабочий — не участник, по-вашему? Ну-ка, постой полсуток у станка с пустым животом... Да еще под бомбами...

— Правильно. Вот я и говорю, все военное поколение сходит на нет...

— А как же иначе — диалектика...

— Диалектика, оно верно, а вам не кажется, что вместе с человеком умирает и его время? Что самое главное в нашей биографии? Война...

— Вы хотите сказать, что вместе с последним участником войны умрет и память о войне?

— В какой-то степени — да. То, что останется в книгах и фильмах,— это уже вторичное, так сказать, отраженный свет. Одно дело — смотреть по телевизору фильм о блокадном голоде и попивать чаек с пирожным, а другое — самому делить на шестерых стограммовый кусочек хлеба. Одно дело — лежать под бомбами, а другое — читать про бомбежку под уютным торшером...

— Так затем и страдали, чтобы детям жизнь досталась посветлей и потеплей..

— Не спорю А все же «спасибо» хотелось бы услышать и от правнуков. Будущая-то жизнь... рождена вчерашней смертью...

Председательствующий постучал по графину карандашиком — услышал спор этих двоих,— и они замолчали и сидели, насупившись, делая вид, что слушают выступавших, но, наверное, что-то мучило их обоих, потому что мужчина профессорского вида, не выдержав, опять заговорил:

— Вам не приходило в голову, что память поколений работает, как трансформатор? Главным образом, понижающий напряжение. А хотелось бы с повышением.

— Но ток-то все равно бьет...— Лысый усмехнулся.— Вы же помните гражданскую войну, хотя родились в год ее окончания..

«Нет, пожалуй, лысый больше похож на профессора»,— подумал Андрей.

— Так мы договоримся до того, что помним Бородинское сражение,— хитровато блеснул очками второй мужчина.

— А что? Помним! Люди уходят вроде бы поодиночке, а получается — целыми поколениями. Поротно и побатальонно, выполнив на этом свете свою боевую задачу... А знамена...

Лысый поискал глазами, повертел головой и вдруг обернулся к Андрею.

— А знамена оставляем вот этим...

Андрей залился краской, опустил глаза.

Коренастый мужчина, едва выглядывающий из-за трибуны, рассказывал о каких-то «пэ-тэ-эрах», стрелявших по танкам, о том, как, переправившись через реку всем батальоном, они остались в живых на том берегу лишь втроем — и тут выяснилось, что третий не кто-нибудь, а вот этот самый лысый, минуту назад доказывавший свою причастность к Бородинской битве Трудно, невозможно было поверить, что эти люди, отяжеленные возрастом, бросались под танки, переплывали ледяные реки, бежали к рейхстагу по смертоносной площади. Андрею казалось, будто они рассказывали не о пережитом, а о прочитанном или виденном в кино.

Его взгляд намагниченно соприкоснулся со встречным из зрительного зала. Подавшись вперед, похожая на старенькую учительницу женщина во втором ряду с двумя блеснувшими на кофточке медалями долго не сводила с него глаз, но, приглядевшись, Андрей понял, что она смотрит как бы чуть-чуть мимо, и догадался, что ее интересует знамя. Она словно прощупывала, перебирала каждую складку и даже как будто шевелила губами, пыталась прочесть вышитую на знамени надпись; наверное, это было очень трудно — женщина щурилась и все больше высовывалась над плечами сидевших в первом ряду.

«Что это она?» — удивленно подумал Андрей.

А женщина, вдруг вскрикнув, вскочила с места и бегом бросилась к сцене. Споткнувшись, перескочив две ступеньки, она кинулась к знамени и, с глухим стуком упав на колени, схватила бахромистый край полотнища, прижалась к нему губами. Андрей услышал рыдание.

Он хотел наклониться, помочь встать и уже было нагнулся, но что-то остановило его, и, цепенея от неловкости, от несуразности положения, в котором оказался, Андрей остался стоять, как было положено по инструкции — по стойке «смирно».

Зал оледенело молчал. Молчал и сбитый с толку очередной оратор. Председательствующий подошел к женщине, взял ее под локоть, помог встать и, с неловкой улыбкой о чем-то спросив, усадил рядом.

— Товарищи! — сказал он, постучав по графину карандашиком.—Продолжим заседание. Ничего особенного. Просто человек узнал свое знамя...

Андрей вспомнил то, что по пути сюда замечал лишь мимолетно. Указатели воинских частей, расставленные в парке, вели не просто к полкам и дивизиям, а к знаменам. Ну да, к знаменам. Он же видел, как они вспыхивали, рдяно светились среди деревьев. Люди искали свои знамена.

— Продолжим! — опять постучал карандашиком председательствующий.

10

Задание командира роты было выполнено, и, прежде чем вернуться в роту, раздобревший Матюшин своей сержантской властью разрешил погулять, поразвлечься полчаса — не каждый день и даже не каждое увольнение удается попасть в парк культуры и отдыха.



Народу в парке прибавлялось. Толпы, несметные, как после футбольного матча, впивались в арку и, бурля, растекались по дорожкам. Воинские части, расквартированные на эстрадных площадках, в читальных павильонах и просто на зеленых лужайках, с каждым часом получали подкрепление, и уже не один, а несколько оркестров перекликались трубами, и то тут, то там возникающие песни перебивали одна другую.

Немного отстав, Андрей перешел ажурный мостик и уперся в толпу, которая в странном, безмолвном любопытстве разглядывала что-то возле прицепленного на куст боярышника указателя стрелковой дивизии.

Андрей протиснулся дальше и увидел посреди толпы девушку. Она стояла, потупив глаза, словно чего-то смущаясь, а когда подняла их, очутившийся совсем близко Андрей успел перехватить ее темный, как ему показалось, с золотистыми искорками взгляд. «Глаза с веснушками»,— сразу подумал Андрей, но в этих глазах держалась какая-то очень взрослая дума, не соответствующая скуластенькому, со вздернутым носиком личику. Что-то девчоночье и одновременно мальчишечье было в ней, может, потому, что и подстрижена она была «под мальчика» — светлые завитушки, наверное, непослушные гребню, проявляли полную непокорную самостоятельность.

Глаза с веснушками словно бы вспыхнули от соприкосновения с человеком, нарушившим неподвижность толпы, и Андрей заметил, как, оживясь, они скользнули по необычной его форме, на мгновение задержались на аксельбантах и тут же словно пригасли, потеряли всякую заинтересованность.

И только сейчас Андрей обратил внимание на то, что разглядывала толпа. Девушка прижимала к груди лист ватмана с приклеенной к нему фотографией. Наискось лист пересекала надпись, выведенная синим фломастером.

«Кто помнит?» — прочитал Андрей.

С фотографии, как бы через залитое дождем стекло, смотрел парень в гимнастерке и фуражке, чуть сдвинутой набекрень. Черты лица были размыты, только глаза остались черными, словно проникающими сквозь лист, и с них не слиняла та смешливость, которую много лет назад секундно перехватил и запечатлел объектив аппарата. Парень был примерно того же возраста, что и Андрей, и, если бы не военных времен форма,— солдат из соседнего взвода.

«Кто помнит? — было старательно выведено круглым девичьим почерком.— Рядовой отдельного лыжного батальона 20-й армии Сорокин Николай Иванович. Пропал без вести в декабре 1941 года, под Москвой».

Кто он ей, Сорокин Николай, пропавший без вести где-то под Москвой?

«Наверное, отец»,— предположил Андрей и тут же усомнился: не могло быть у этой восемнадцати-двадцатилетней девочки отца, воевавшего в ту войну. Она была, наверное, как и Андрей, пятьдесят шестого, ну, пятьдесят седьмого года рождения.

Андрей подвинулся вперед, рука сама потянулась к фотографии, и он тихо, чтобы не слышали другие, спросил:

— И вы Сорокина, да?

Он шагнул непроизвольно, неосознанно и тут же об этом пожалел. Девушка медленно обернулась на его слова с тем выражением раздражения, уже знакомым Андрею, когда любой вопрос воспринимается лишь как желание завязать разговор; ее глаза подернулись холодком. Девушка отвернулась.

— Вы меня не так поняли,— покраснев, пробормотал Андрей.— Я просто хочу вам помочь. Я могу...

Зачем он это сказал?

Любопытство и надежда мелькнули в ее глазах, и неприступные за минуту до этого, они широко раскрылись и впустили Андрея. Девушка свернула ватманский лист в трубку и медленно, как бы приглашая Андрея, пошла по дорожке, ведущей к выходу из парка.

— Он вам кто? Дед? — спросил Андрей, пристраиваясь рядом.

— Нет,— с недоверчивой улыбкой приглядываясь к Андрею, сказала она.

— Тогда... дядя...

Теперь засмеялись ее глаза. Ей, наверно, нравилась эта загадка. Завитушки на лбу подпрыгнули, она кокетливо покачала головой.

— А вот угадайте!

— Зачем гадать? — деловито проговорил Андрей.— Нужны данные — и все...

— Данных почти нет... Это же последний его адрес: лыжный батальон. А вы что,— резко обернулась она,— имеете к этому отношение? Вы где служите? Эти аксельбанты... Кто носит такую...— она поискала слово и рассмеялась,— гусарскую форму?..

Андрей вспыхнул, но не подал вида, что оскорбился.

— Я служу в роте почетного караула,— неожиданно прямо сказал он.— И мы имеем возможность... Разрешите, спишу данные...

— Это что же за рота? Ах да! — Поджав губы и нарочито нахмурив брови, но не скрывая насмешки, она всплеснула руками, прихлопнула в ладоши.— Встречаете королей и герцогов? — И сразу же посерьезнела: — Пишите!

Андрей с готовностью достал записную книжку, отлистал страничку с буквой «С».

— Почему вы решили, что я на «С»? — спросила она с удивлением.

— Я не вас, я его...— пробормотал уличенный Андрей, показывая на ватманскую трубку.

— А я так и поняла,— кивнула она, дрогнув завитушками.

— Так как? — настороженно, боясь, что его стратегический замысел, уже разгаданный, сорвется, спросил Андрей.

— Вот,— сказала девушка.— Настя... Можете позвонить...— И назвала номер телефона.

— Спасибо,— проговорил Андрей. За что он сказал «спасибо»?

К ним гуськом подходили Матюшин, Сарычев и Патешонков.

— Вы куда провалились, Звягин? — начальственно спросил Матюшин, но, взглянув на девушку, осекся и сказал мягче: — Пора ехать в роту!

— До свидания,— произнес Андрей, желая сейчас одного: чтобы Настя осталась, чтобы не пошла с ними — все-таки у Матюшина вид был параднее да и сам он — куда симпатичнее.

— Жду,— подала легкую руку Настя.— До свиданья...

(Окончание следует.)

Евгений Винокуров





Колодец

И когда уже не было силы идти,
то, как всякий отчаявшийся землепроходец,
неожиданно я повстречал на пути
позабытый, осыпавшийся колодец...

Я нагнулся и крикнул в него, и тогда
там, где было все пакостно и безотрадно,
на запущенном дне замерцала вода
и протяжный мой крик возвратила обратно.

Над колодцем торчал измочаленный шест,
и молчал я,
постигнувший удвоенье.
И ночная вода повторила мой жест,
означавший надежду и удивленье,

И тоска отошла, что пилила, свербя,
на мгновенье,
— и это почел я за благо, —
и в колодец смотрел я, как будто в себя,
и лицо мое вверх подымалось из мрака.

Черепаха

Вот причуда пустоты и праха,
давшая смиренности обет,
проползает полем черепаха,
предвкушая за кустом обед.

Средь постылой мировой пустыни
движется она едва-едва...
Что за дело ей до этой сини,
твоего, природа, торжества!!

Молока ей из бутылки вылей
и зерна ей высыпь из горсти,
Сколько надо дьявольских усилий,
чтобы ей за пищей проползти!

Залегла средь стеблей молочая,—
надо быть чуть-чуть и посмелей! —
острое блаженство ощущая
от обыкновенности своей.

Хиппи

Век тонет в крике, сипе, хрипе,
царит земной переполох...
Лежит среди Парижа хиппи
и давит на подруге блох.

И нет им никакого дела
до стонущих в тоске родных!
Прокисшим потом пропотело
последнее тряпье на них.

О чем тут может быть забота,
когда вся жизнь для них пустяк,
когда безумная свобода
над ними подняла свой стяг!

Хотят среди земного ада
прожить так просто, без затей!
А может быть, и впрямь не надо
варить борщи, качать детей!

А может, так и жить у края,
чтобы не мучилась рука,
упорно запонку вдевая
с утра в петлю воротника!

Там, где грохочет эстакада,
они лежат, дрожа в углу...

А может быть, и впрямь не надо
в камине шевелить золу,
а видеть на планете старой
лишь звездный мир над головой,
как этот, что лежит с гитарой
на многолюдной мостовой!

✪

Спасите нас от пророков,
от воплей их и от слез,
от наступающих сроков,
предсказанных ими всерьез.

Нельзя уже и за водою
девице пройти стороной,—
они трясут бородою
и брызгаются слюной.

Спасите нас от пророков!..
Удел наш — поле и труд.
Они от наших порогов
наших детей уведут.

Замуж не выйдут девы
и ведать не будут стыда.
И оскудеют посевы,
и пропадут стада!

Спасите нас от пророков,
что впали в неистовый раж,
и там, за кущицей дроков,
пусть догорит мираж.



Роберт
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

А ДИСКУССИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

(Заметки о песне)



Рисунки
И. ОФФЕНГЕНДЕНА.

Сначала несколько цитат:

«Песня, как никакой другой жанр, всеобъемлюща. Она призвана отражать и преломлять в себе крупнейшие события эпохи. Она конденсирует в себе и тонкую лирику, и героику, и гражданственность...»

А. Флярковский, «Литературная газета», № 46, 1974 г.

«Профессиональный слух, конечно, улавливает эстетическую фальшь и пустословие в песнях, исполняемых с эстрады или по радио, но, честно говоря, знакомство с печатными текстами повергает в уныние. Как мало хороших, поэтически выразительных песен и как много безликих стереотипов, пошловатых шлягеров, холодных речитативов, имитирующих подлинно высокие чувства...»

Ал. Михайлов, «Литературная газета», № 19 1973 г.

«.Когда же текст не но высоте, то и песня уже не песня, даже если музыка мелодична.»

М. Каратаев. «Литературная газета», № 32, 1973 г.

«Нельзя оправдать появление бесчисленного количестеа «однодневок» постоянной жаждой новых песен... Невозможно мириться с теми «творцами», которые считают, что «сделать» песню легче легкого...»

А. Пахмутова. «Литературная газета» № 13, 1973 г.

Я привел только несколько высказываний, так сказать, несколько всплесков из тех могучих дискуссионных «бурь», которые пеиились иа страиицах «Литературиой газеты» и год и два года назад.

Речь в зтих дискуссиях шла о песие, и, иадо заметить, что в иитонациях всех выступающих в основиом преобладал сарказм, почти каждый автор обязательио разделывался в своей статье с теми или иными песеииыми «словами», с тем или иным песеииым «текстом».

И если говорить о главиом выводе из дискуссии, то литераторы — авторы статей — сформулировали его примерио так: хорошие стихи — песия хорошая, плохие стихи — плохая. Все просто.

Я было уже почти полиостью согласился с этим, как вдруг услышал по радио Наии Брегвадзе. Пела оиа зиамеиитую «Калитку».

Отворн потихоньку калитку
И войди в тнхий саднк, как тень,
Не забудь потемнее накидку
Кружева на головку надень..

Я вслушиваюсь в голос певицы, а про себя повторяю общий вывод песенной дискуссии: хорошие стихи — хорошая песия, плохие стихи...

Но погодите, в «Калитке»-то стихи не слишком! Попадись оии под руку любому участнику дискуссии, и можно себе представить, что осталось бы от иих! Выходит, ие попались под руку? А может, все ие так просто и дело в другом?

Звучит песня. Тихая, медлеииая песия. И мие, например, и е х о ч е т с я выясиять, хорошие там стихи или плохие. Потому что в ией — звучащей — происходит преображеиие позтических строчек.

Но, может быть, она одна такая?

Давайте еще поищем:

Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода-малинка, малинка моя!..

Что в этих стихах? Если разбирать их в отрыве от музыки, то ничего особенного. Обычные народные припевки. Не хуже и не лучше других.

Но если вспомнить музыку (а дело в том, что ее и забыть-то невозможно), вся обычность, вся непритязательность двустишия исчезает напрочь!

С первых нот, с первого протяжного «Ка-а-а-а...» вас захватывает редкостное и радостное волнение. В нем ожидание чуда. Пока еще озорная присказка. Предчувствие, в котором и молодецкий замах и безудержная удаль!

Потом — удар!—«...линка, калинка, калинка моя!..» Слова выкатываются, выговариваются — точные, родниковые слова. Музыка — в них, и они — в музыке. Дальше, дальше, чаще, чаще!

Пошло, раскатилось, расхохоталось — солнечное, задорное, зовущее, наше! Вот оно, вот — развернулось во всю ширь! И дальше, дальше: кто скорей, кто веселей, кто шибче, кто яростней, кто невозможней, кто невероятней!

Еще бы, русская плясовая!..

Встречаются и другие случаи.

Ведь порою песня больше и чаще, чем любой другой жанр искусства, может и умеет впечатываться в эпоху, в тот или иной ее отрезок. Впечатываться намертво!

Причем для конкретного человека бывают одинаково дорогими и «Песня о встречном» и «Утомленное солнце», которое «нежно с морем прощалось». Вещи, как вы понимаете, несравнимые!

А вот для него, конкретного человека, в этих двух — абсолютно разных — песнях заключена молодость. А еще молодость страны, вдохновенной, мечтающей, ищущей, работающей страны. И обе эти песни будто эхо той молодости. Дорогое, далекое эхо

Говорить, что тогда была только «Песня о встречном», а «Утомленного солнца» не было, значит говорить неправду. Значит отказываться от какой-то части собственной молодости.

«Утомленное солнце» — плохая песня? Конечно, плохая.

Но когда-то это «Солнце» все-таки вспыхнуло, взошло А потом погасло. И однако при жизни своей оно успело осветить чью-то юность, чью-то первую любовь, чью-то первую встречу. И поэтому осталось в памяти.

Я понимаю, что само «Солнце» лучше от этого не стало. И все равно «резвиться» по поводу его текста не могу. Рука не поднимается. Что-то не дает мне этого сделать. Я даже знаю, что́. Уважение к людям, чью молодость озарило «Солнце».

Может быть, это частный случай. Но, когда мы вспоминаем добрые старые песни. такие частные случаи игнорировать нельзя.

И говорю я не о том, что стихи некоторых (даже хороших) песен без мелодии хуже. Я о том, что они с мелодией лучше. Намного лучше..

Вот как преображаются слова в другой песне. Совсем другой.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!..

Первое же слово «вставай!» в песне звучит невыносимо длинно. Звучит как приказ. И как мольба. Оно бесконечно громкое и открытое—это «вставай!». Потому что страна и впрямь огромная. И надо докричаться до всех, до каждого, до любого надо, чтобы все услышали. Абсолютно все!

В этом «вставай!» есть и замах. Почти как тот, «калиночный». Но уже без игры, всерьез, жестоко-беспощадный замах. Страшен будет удар после такого замаха!

И слово «огромная» поется так, что в нем ощущаешь не только немыслимую масштабность страны но и слышишь грохот ее железных дорог... «Огро-о-омная»,— зябко становится от этого слова.

И ритм песни, как ритм сердца Родины. А еще он, как поступь ее полков, ее дивизий, ее армий.

Есть герои-люди. Есть герои-города. Но если бы было установлено звание «песня-герой», то одной из самых первых это звание получила бы «Священная война».

Вот что значила и значит эта песня.

Вот почему я не могу отделить ее от тех грозовых месяцев и лет, а в ней не могу отделить стихов от музыки...

И даже странно вдруг убедиться в том, что «Священная война» и «Москвичи» («В полях за Вислой сонной...») написаны одним размером. И что в припеве «Калинки» и в песне «С чего начинается Родина» тоже один стихотворный размер. Настолько различны по интонации эти хорошие песни.

Да и вообще, когда мы слушаем настоящую песню, то, согласитесь, нам и в голову не приходит вопрос: что в ней все-таки лучше — стихи или музыка? А если такой вопрос возникает, то, значит, сама песня не очень хороша...

Теперь еще об одной песенной «тайне».

Даже когда я читаю (просто читаю) стихи М. Исаковского «Враги сожгли родную хату», то все равно вопреки моему желанию где-то подспудно во мне звучит музыка М. Блантера, написанная на эти стихи. Звучит вместе с каждой строкой, вместе с каждым словом.

Допустим, я пытаюсь ей не поддаваться. Я нарочно тороплю стихи, отделяю их от музыки. А она — музыка — не дает этого делать. И я чувствую, что, даже читая стихи про себя, я должен читать их так, как они звучат в песне.

Получается, что песня — это еще и особый способ прочтения стихов. (Я говорю не о мелодекламации!) Способ, который Илья Сельвинский когда-то пытался выразить графически. Вспомните его «эс-паузы».

Я не теоретик. Я не могу отбить хлеб у музыковедов хотя бы потому, что абсолютно ненаучно делю для себя песни лишь на хорошие и плохие.

Заранее согласен, что такое деление, мягко говоря, небезупречно.

Однако меня оно устраивает. Во всяком случае, это более понятно, чем существующее деление песен на «эстрадные», «массовые», «лирические» и т. д.

Возьмем какой-нибудь распространенный термин и попытаемся вникнуть в него, соотнести его с жизнью.

Ну, например, «эстрадная песня».

Что же оно такое — «эстрадная песня»?

Должно быть, песня, которая исполняется на эстраде? Одним солистом? Квартетом? Вокальным ансамблем?

А если на эстраде солист поет с хором, это что? Не «эстрадная песня»? А какая? Хоровая? Массовая? Но ведь массовость песни определяется не количеством исполнителей!

Тогда чем? Популярностью в массах? Однако популярными, даже очень популярными, бывают и песни-пустышки, песни-однодневки!

И потом, смотрите, что получается: ежели песня про любовь, то ее, не задумываясь, называют «эстрадной», а ежели про КамАЗ, то как-то стесняются.

Значит, все дело в содержании, в идее?

И, может быть, вопрос прояснится, если разложить песни по традиционным полочкам: это лирика, это гражданственность?

Может, он и прояснится, да только не очень. «Землянка» А. Суркова и К. Листова, «Журавли» Р. Гамзатова и Я. Френкеля (по-моему, лучшая песня последних лет) — это что? С какой полки? Лирической? Публицистической? Я не знаю.

Да неужели все определяется только наличием электрогитар в аккомпанементе и количеством блесток на платье певицы?

Если исходить из нынешней практики, то получается именно так.

Видите, термин «эстрадная песня» вроде бы понятный, даже навязший в зубах. Употребляют его и с трибун и на газетных страницах, а что он в конце концов обозначает?

Ведь сегодня этим термином можно окрестить любую песню. Любую!..

Обидно, что почти нет настоящих теоретических работ по песне.

Конечно, я не говорю о статьях в специальных журналах. Такие статьи время от времени появляются.

Но главная их беда даже не в занудности, а, скорее, в этаком надменном взгляде свысока. В снисходительном похлопывании по плечу «легкого жанра».

А советская песня давно уже не нуждается в снисхождении. Лет почти шестьдесят как не нуждается. И глядеть свысока на нее не надо. В пору бы дотянуться до высоты иных советских песен!..

Настоящая песня — это огромно. Это часть нашей жизни. Причем значительная часть.

Ведь она, песня, нежная колыбельная песня, будто спрессованная из доброты, света и тепла,— первое, что мы слышим, когда приходим на землю.

И она, песня,— последнее, что провожает нас в конце жизни, когда мы уже ничего не слышим.

Между этими двумя песнями — колыбельной и траурной — наши любовь и ненависть, гнев и восторг, печаль и вдохновение, работа и отдых.

Между этими двумя песнями — наша жизнь. Пестрая, мельтешащая, произительная, такая продолжительная и такая мгновенная жизнь.

Жизнь, в которой постоянно звучат песни.

Песня — это наша память. Не только наша, личная, но и звучащая память Человечества.

Что касается поэзии, то она вообще долгое время существовала только в жанре песни. Стихи пелись. Обязательно пелись. Такие песни шлифовались веками и оберегались, как огонь в очаге.

Можно сказать, что песня — это составная часть детства Человечества. Так стоит ли забывать собственное детство? И надо ли относиться к нему пренебрежительно?

Древние песни, старые народные песни — это озвученная археология.

Археология, восстанавливающая характер наших предков. Их души.

Рядом с прекрасными народными песнями живут, не меркнут, не стареют и песни революции, песни гражданской войны. Наша советская песенная классика. Гвардия наша. Боевой стаж этой гвардии исчисляется десятилетиями.

Советская песня — в дни мира и в дни войны — всегда была и оружием, и паролем, и мечтою, и клятвой.

«Легкий жанр» то и дело становился тяжелой артиллерией.

А если говорить о воздействии на массы, то ни один вид искусства не может так объединять людей, как это делает песня!

Нет, настоящая песня — это очень серьезно. Очень!

Я пишу эти строки и чувствую, что в них есть какая-то оправдывающаяся интонация. Будто я сам себе доказываю, как нужна и важна песня. Или пытаюсь убедить в этом кого-то неведомого. Зачем? И кого? Ведь буквально все понимают важность и нужность настоящих талантливых песен!

Понимают-то вроде бы все...

И, однако, я уже почти привык к тому, что некоторые мои коллеги, даже написав хорошую песню, сообщают об этом, как бы извиняясь:

«Вот, мол... помимо серьезных стихов... я тут... случайно, конечно... хе-хе... изобразил, так сказать... но это так... вместо отдыха...»

Фраза предназначается в основном для собеседника, который, естественно, убежден, что уж никак невозможно: «с небес поэзии» и вдруг — в песню!..

Вот видите, с одной стороны, «все понимают», и «все согласны», а с другой стороны, среди этих «всех согласных» происходят любопытнейшие вещи.

Например, когда хорошие поэты (написавшие, помимо всего прочего, много известных песен) рассказывают о своем творчестве, то почему-то в этих рассказах обязательно присутствует мысль: «Я лично никогда не думаю о том, станет стихотворение, которое я пишу, песней или не станет...»

Иными словами, автор хочет сказать: «Я, мол, вообще-то человек серьезный. Талантливый. Стихи пишу. И за то, что с ними происходит дальше, никакой ответственности нести не хочу. Мои стихи становятся песнями? Да что вы говорите?! А впрочем, что ж, значит, в дополнение ко всем остальным достоинствам я еще и, оказывается, обладаю тонкой песенной душой... Но это уже врожденное...»

Ты берешь книжку такого — повторяю — серьезного, хорошего поэта и видишь, что многие стихи его (ставшие песнями и не ставшие ими) написаны по так называемым «железным» песенным законам.

Во-первых, в каждом стихотворении не больше 4—5 строф.

Во-вторых, в каждой строфе (или через одну) есть точно найденная повторяющаяся строчка. Как правило, последняя.

В-третьих, каждая строка в таком стихотворении целиком вмещает в себя одну законченную фразу. И не бывает так, чтобы фраза переносилась и заканчивалась, скажем, где-то посредине следующей строки.

Наконец, в-четвертых (достигается это не часто, но достигается), в таком стихотворении порою подозрительно много строк заканчивается (мечта композитора и исполнителя) на «песенные» -а, -о, -я...

Созданные по этим законам стихи могут быть и плохими и хорошими. Сейчас я говорю о хороших стихах.

И, простите, не верю прозаическим манифестам их авторов. Тем, в которых говорится, что «песня получилась сама собой». Что автор «и не предполагал...».

А как же тогда быть с песнями, написанными специально для какого-нибудь конкретного



фильма или спектакля? Они, что, тоже получаются «сами собой»?

Неужто, создавая порою сугубо специфическую песню для фильма, встречаясь с режиссером, композитором, споря с ними, предлагая свои варианты, маститый автор так уж и «понятия не имел, станут стихи песнями или не станут...».

Думаю, что подобные авторские заявления очень подошли бы для опубликования в журнале «Наука и жизнь». Там был такой специальный раздел под названием «Маленькие хитрости»...

А зачем хитрят серьезные люди? Кого обманывают? Чего стыдятся?

Некого и нечего стыдиться тем, кто честно относится к своей работе. Тем, кто пишет песни.

Впрочем, нет! Зря я говорю, что стыдиться нечего.

Увы, есть чего стыдиться. Очень даже есть.

Ведь написав несколько удачных песен, ты, причем, учтите, добровольно, переходишь из привычного разряда «нормальных» поэтов в разряд поэтов, к которым прибавлено то ли цеховое определение, то ли уточнение их возможностей, их масштабика.

Ты переходишь в разряд «поэтов-песенников».

Термин этот ругали много раз, но он существует. Пишешь стихи? Ты поэт.

Ах, еще и песни пишешь? Тогда ты поэт-песенник.

(Господи, и почему это никому не приходит в голову назвать хорошего поэта Егора Исаева «поэтом-поэмистом»? Ведь он пишет только поэмы!..)

Ну да ладно. Не в терминах дело...

Однако если «просто поэт» — это вроде бы высшая каста, вития, философ, разговоры с богом и прочее, то «поэт-песенник», сами понимаете, никакой не вития и уж само собой не философ. Да и разговоры у него происходят не с богом, а преимущественно с композиторами и — когда повезет — с исполнителями.

Далее: ежели число «просто поэтов» — членов СП СССР огромно, но все-таки его можно назвать, то число «поэтов-песенников» назвать нельзя. Никто не знает, сколько их.

Сейчас не пишет песен только тот, кому их лень писать. (Если в этой фразе и есть преувеличение, то не очень большое.)

А ведь согласитесь, для человека совсем не все равно, быть одним из пяти тысяч вполне уважаемых деятелей культуры или же одним из тьмы, представителем неоформленной массы непонятных людей, быть «поэтом-песенником».

Шучу, конечно.

К любому прозвищу можно привыкнуть. И неудовлетворенное авторское самолюбие тут ни при чем.

Но то, что песни действительно пишут многие,— факт...

Начнем с самодеятельности.

Теперь без нее не обходится ни один завод, стройка, институт, колхоз, школа, не говоря уже о Дворцах культуры и клубах.

Ну а если есть самодеятельность, то в наши дни там обязательно есть инструментальный (или вокально-инструментальный) ансамбль.

В каждом ансамбле (почти наверняка!) есть люди, которые пробуют свои силы в сочинении стихов или музыки. Так возникают «самодеятельные» песни.

О чем они? Да о том же, о чем и «несамодеятельные». О любви, о молодости, о работе, о своем городе, институте и т. д.

Песни эти иногда удачны, искренни, своеобразны. А чаще всего наивны, многозначительно «красивы», в общем, непрофессиональны.

Впрочем, «самодеятельные» авторы и не претендуют на какую-то межобластную известность. Они пишут песни для себя. И для себя исполняют.

Они вполне довольствуются хотя бы тем, что их незамысловатые сочинения нравятся друзьям, товарищам по работе, сослуживцам. К тому же местное клубное начальство при случае с удовольствием представляет гостям: «А вот это наш поэт...», «А вот это наш собственный композитор...»

Песни «самодеятельных» поэтов и композиторов исполняются в общих концертах, и нельзя сказать, что они совершенно не влияют на музыкальную жизнь страны, не влияют на вкусы людей.

Влияют, и даже очень. Особенно на молодежь.

Из самодеятельности на профессиональную сцену приходят не только артисты, музыканты, певцы.

Из самодеятельности иногда приходят и поэты. Путь это долгий, трудный, полный разочарований, побед и мужества.

Но если у человека есть талант и есть настойчивость, то он может добиться своего.

А как быть, если таланта нет, но... очень хочется?

Тогда можно сделать попытку пробиться в «песенники»...

Допустим, молодой человек, учась в техническом вузе, был там кумиром. Он писал стихи, и уже одно это нравилось всем сокурсникам без исключения.

Правда, когда он посылал свои стихи в самые разные газеты и журналы, отовсюду приходили вежливые и холодные отказы. («Слишком слабо...», «Несамостоятельно...», «Отсутствие таланта..», «К сожалению, наш журнал не сможет...»)

Конечно, молодой человек был недоволен такими ответами. Тем более, что несколько песен этого моло-





дого человека (музыка либо его собственная, либо одного из музыкантов ансамбля) охотно пели студенты.

Они-то пели потому, что песни были написаны их товарищем. Пели потому, что в песнях шла речь об институте, о нелегких сессиях, о будущей профессии.

Но молодой человек не размышлял об истинных причинах своей популярности. Он решил «заняться творческой работой», решил целиком переключиться на песни. Ведь, по его мнению и по мнению его друзей, сочиненные им песни были не хуже тех, некоторых, исполнявшихся по радио и на профессиональных эстрадах. «Не боги горшки обжигают!» — решил молодой человек и объявил себя «поэтом-песенником».

Что ж, насчет горшков, которые обжигают «не боги», молодой человек прав.

И насчет того, что его стихи, наверное, ничуть не хуже тех, которые встречаются во «всесоюзно звучащих» песнях, он тоже прав.

Тем не менее то, чем он собирается заняться в жизни, не имеет к творчеству никакого отношения.

Михаил Исаковский писал в одной из статей: «...нас начинает захлестывать волна песен, по музыке, может статься, и хороших или в крайнем случае средних, но написанных на слабые, на скверные, бездарные стихи, которые отнюдь не могут служить украшением нашей поэзии. Скорей всего они компрометируют ее. И пусть авторы таких стихов называют себя поэтами-песенниками. Они не поэты. Они ремесленники, поденщики, даже откровенные халтурщики...»

Сказано резко, но абсолютно справедливо.

Так что упомянутый молодой человек, ринувшийся в песню, потому что никто не хотел печатать его «не песенных» стихов, поэтом не стал.

Он стал сочинителем текстов. Текстовиком.

И, может быть, именно на его «произведениях» сейчас оттачивают свое остроумие авторы критических статей о песне...

Я тоже мог бы привести примеры пошлых, анекдотически бессмысленных песенных текстов. Но я не буду этого делать, потому что разбор таких «перлов» сам по себе мало что дает.

Во-первых, как правило, эти песни уже мертвы. То есть они, конечно, были. Звучали. А теперь вместо них появились другие. Равного качества.

Во-вторых, текстовику никогда не бывает стыдно. Ведь он циник-многостаночник. И на каждую упомянутую в критическом разборе песню у него есть двадцать неупомянутых. Точно таких же по качеству. Лучше-то он все равно не сможет писать, как бы мы его ни стыдили!

Значит, вопрос не в той или иной песне, а, скорее, в тех или иных авторах.

Ибо, пока мы разбираем их «творчество», они бодро и весело продолжают создавать очередные «тексты слов».

Они поднаторели в своей нахрапистой профессии и могут подтекстовать все, что хотите,— от заводских гудков до соловьиных трелей.

Они беззастенчиво тянут мысли и строчки у других — известных и неизвестных — поэтов.

И создают «свое».

Но каждый раз котлета, которую они предлагают слушателям, уже была однажды съедена.

К примеру, стоило появиться «Журавлям», как тут же в десятках других песен — лирических, эпических, всяческих — главными действующими лицами оказались эти пернатые.

И если судить по песням, то прекрасному журналисту Василию Пескову, который ведет на телевидении передачи «В мире животных», нечего волноваться о журавлином поголовье.

Ведь целые стаи,— да что там стаи! — эскадрильи, армады журавлей летают над нашими головами, перепархивая с концерта на концерт, с одной эстрады на другую. Честное слово, хоть отстрел объявляй!..

Впрочем, если бы все ограничивалось только такими совпадениями, беда была бы невелика.

Все дело, если хотите, в п р и н ц и п и а л ь н о й вторичности таких песен. И в том, что количество их — о б я з а т е л ь н о! — переходит в качество.

В качество, которое ниже любой критики.

Конечно, я не хочу сказать, что текстовики — единственный бич нашей песни. «Посильную лепту» в создание плохих песен вносят и профессионалы. Даже именитые.

И все-таки, негодуя по поводу обилия слабых, бездарных текстов, удивляясь беспомощности «самодеятельных» и профессиональных изготовителей песенных «рыб», я смею утверждать: количество плохих песен в общем-то н а м н о г о м е н ь ш е количества плохих стихов.

Только песенные неудачи, помноженные на современную технику воспроизведения, всегда громче, всегда слышнее неудач стихотворных.

Может быть, поэтому они так заметны.

Авторы статей о песнях обычно настаивают на том, что на пути текстовых полуфабрикатов надо воздвигнуть дополнительные заслоны, этакие «заставы богатырские».

Предложение вроде бы заманчивое.

Но даже в нем прежде всего бросается в глаза однобокий подход к проблеме — отрыв песенных стихов от музыки.

Для того чтобы обычные стихи пришли к читателю, существует известная цепочка: поэт — редактор — читатель. И главное ответственное лицо в ней — поэт. (Редактор тоже, но в меньшей степени.)

Что же касается новой песни, то она может прийти к слушателю двумя путями.

Путь первый: композитор берет чьи-то стихи из газеты, журнала или сборника и пишет на них музыку.

Путь второй: стихи приходят к композитору, минуя печать. В этом случае цепочка выглядит так: поэт — композитор — редактор — исполнитель — слушатель.

Казалось бы, обилие «промежуточных инстанций» (чем не заслоны?) — гарантия того, что по этой цепочке не может пройти халтура, бессмыслица или просто малоталантливая вещь.

Однако в действительности такой гарантии нет. В действительности сквозь эти заслоны прекрасно проскальзывают и халтура, и бессмыслица, и бездарные поделки.

Почему же так происходит?

А вы представьте себе реальную ситуацию: некий текстовик приходит к композитору и, сказав несколько уважительных слов, передает ему свой опус.

Допустим, композитор в стихах разбирается не очень. Но фамилию пришедшего к нему человека он слышал раньше и знает, что кто-то из его коллег-композиторов с ним работал. Да и в напечатанном на машинке тексте вроде бы все правильно. Есть занятный, с точки зрения композитора, ритм. Даже рифмы есть. И тема подходящая. Нужная тема. Композитор пишет музыку. Он делает это совершенно искренне, заинтересовавшись ритмическим ходом. Потом играет песню соавтору. Тот, естественно, доволен.

Вместе они направляются к редактору. Основная работа редактора — целый день прослушивать новые песни. Он их прослушивает все: и очень хорошие (редко), и очень плохие (часто), и средние, «никакие» (очень часто). Причем в музыке редактор понимает больше, чем в стихах. (Еще бы — музыкальное образование!) И ему кажется, что в мелодии новой песни «что-то есть...». А стихи... Ну что стихи?.. Пожалуй, все нормально.. «Только вот эту строчку исправьте!..» Текстовик исправляет.

Следующий этап — исполнитель. Песня ему подходит. Особенно те места, где можно показать голос, где можно «выдать». А еще хорошо, что последнее слово в каждом куплете оканчивается на «а». Это хорошо. Это вокально... (Иногда мне даже кажется, что некоторым исполнителям все равно, какое слово оканчивается на «а»: «Родина» или «клюква».)

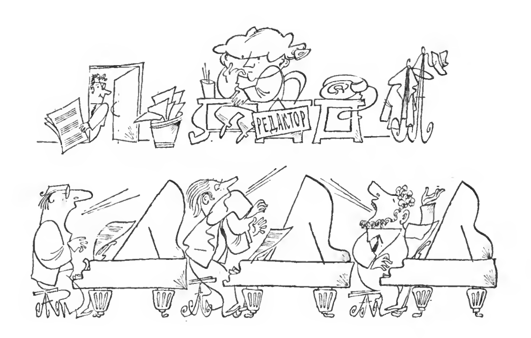
А дальше? Дальше — слушатель. Дальше — мы с вами...



Я проследил путь средней песни. Проследил, ничего не усложняя и не драматизируя. Поверьте, эта песня будет исполнена, будет записана на радио, прозвучит несколько раз, а потом затихнет навсегда, уйдет в песок, исчезнет из памяти.

А потом появятся новые песни: хорошие, средние, плохие. И у каждой из них будет своя история, свой повод для рождения, своя причина смерти.

Но во всех «смертельных случаях» главной причиной будет неталантливость, непрофессиональность, этакое «провисание» хотя бы одного из звеньев цепочки: поэт — композитор — редактор — исполнитель — слушатель. (Учтите, в этой длинной цепочке я еще пропустил целых три звена, три профессии — аранжировщика, дирижера и звукорежиссера. А ведь



от их талантливости и профессионального уровня тоже зависит конечный результат!)

Я привел пример, когда хороший композитор создал музыку, вдохновившись средним текстом. И поэтому песня не получилась. Но ведь можно вспомнить и другое.

Сколько композиторов — профессиональных и самодеятельных — писали музыку на стихи Сергея Есенина? А как мало песен осталось!

И это при том, что стихи Есенина поразительно песенны! Но даже эта поистине гениальная песенность не помогла, не выручила, не поддержала благие композиторские порывы.

Так что хорошие сами по себе стихи — это не всегда гарантия удачной песни. Повторяю: талантливым должно быть каждое звено песенной цепочки.

Но может возникнуть естественный вопрос: «А как же быть с «Калиткой» и «Утомленным солнцем»? Не получается ли, что иногда, в силу каких-то особых причин, могут «выжить» и песни с плохими стихами?»

Да, так иногда получается.

Но и «Утомленное солнце» (в большей степени) и «Калитка» (в меньшей) — это исключения из правил. Причем вполне объяснимые исключения.

Каждый раз появлению, популярности и выживанию таких песен предшествовал своеобразный «песенный голод», предшествовала нехватка песен какого-то определенного склада, определенного характера (к примеру, танцевальных или тихих, любовных).

А когда начинается голод, то люди становятся менее привередливыми, менее разборчивыми в том, чем этот голод утолить. Берется первое попавшееся. То, что под рукой.

Поэтому такие песни и становятся популярными. Поэтому и возникают исключения из правил.

Однако, помня об этих исключениях, я все-таки продолжаю говорить о главном — о правилах...

Звучащая песня — это обязательно коллективный труд. (Если, конечно, ее не исполняет певец, который сам пишет и стихи и музыку.)

Звучащая песня — это обязательно сумма усилий многих людей.

О ней никогда нельзя сказать: «Я написал...»

В какой-то мере работу над новой песней можно сравнить со съемками фильма.

Я, конечно, не сравниваю объем труда и его масштабы. Я говорю лишь о том, что в обоих случаях в работе участвуют люди разных профессий. Разных! Вот в чем главная сложность.

В фильме цепочка участников еще длиннее.

Но даже в нем талантливая игра актеров, как правило, не может заслонить убогости сценария, а великолепное мастерство оператора лишь подчеркивает суетливость и бездумье режиссера.

Однако в случае провала фильма там хоть есть с кого спросить. Там спрашивают с главного режиссера.

У песни нет главного режиссера. Спрашивать не с кого. Да и спрашивают редко.

А если критика и раздается, то она обычно идет по «ведомственному принципу»: поэты критикуют автора стихов, композиторы ругают музыку, исполнители — своего собрата-певца да иногда дирижеров. Почему-то от всех достается редактору. И почти ни от кого — аранжировщику и звукорежиссеру. (В этом вообще мало кто разбирается.)

И, конечно, такая отдельность критики, ее «пестыковаиность» никак не может исправить положения, никогда не сможет помочь общему делу...

А я снова и снова вспоминаю, каким прекрасным «главным режиссером песни» был Марк Бернес! Как дотошно и профессионально вникал он во все поэтические и композиторские нюансы! Как неожиданно замолкал во время работы, а потом — после паузы — вдруг говорил: «Погодите! А если так попробовать?..» Как точно умел он чувствовать музыку и как прекрасно понимал слово!

Опытный артист, Марк Бернес невероятно волновался каждый раз, когда выходил на сцену. Особенно, если выходил с новой песней.

Но это была уже его песня! Его — с первой до последней строки. Его — с первой до последней ноты.

Еще и поэтому она сразу же становилась нашей песней. Песней народа.

От всего этого «начальные звенья цепочки» — поэт и композитор — не становились менее главными. Наоборот, вопрос «кто главнее?» в этом случае просто не мог возникнуть. Ведь речь шла не о том, что исполнитель как-то подавлял авторов, а о том, что он наиболее истинно, наиболее полно и трепетно выявлял суть песни.

«Главная режиссура» исполнителя давала право говорить о «песнях Утесова», «песнях Шульженко», «песнях Отса».

Да и сейчас мы можем сказать о «песнях Зыкиной», «песнях Магомаева», «песнях Кобзона», имея в виду не только манеру пения, но и нечто большее: характер исполняемых произведений, линию творчества.

Если присмотреться, то истинные песенные удачи приходят тогда, когда существует содружество поэта и композитора. Здесь уже они оба осуществляют «главную режиссуру».

И опять-таки я говорю не просто о совместной работе (встретились, познакомились, написали песню). Я говорю о настоящем сотрудничестве, которое обязательно включает в себя и такое обыкновенное (а вместе с тем и очень непростое) понятие, как дружба.

Не «дружим, потому что пишем». А «пишем, потому что дружим».

Вспомните: И. Дунаевский — В. Лебедев-Кумач, М. Блантер—М. Исаковский, А. Островский—Л. Ошанин, А. Пахмутова — Н. Добронравов, М. Фрадкин— Е. Долматовский, Я. Френкель — К. Ваншенкин, О. Фельцман — Р. Гамзатов, Э. Колмановский — Е. Евтушенко, В. Соловьев-Седой — М. Матусовский, Д. Тухманов — В. Харитонов, Г. Пономаренко — В. Боков. Сколько хороших песен родилось в результате этих, по-настоящему творческих содружеств!

Конечно, к таким «парам» нельзя подходить, словно к католическому браку, и требовать от поэта и композитора «взаимной верности до гроба». Поэты и композиторы вольны в выборе соавторов. Но во всех случаях, работая вместе, надо знать и понимать друг друга. Надо быть единомышленниками.

Ибо только у единомышленников могут появиться такие песни, как «Подмосковные вечера» (В. Соловьев-Седой и М. Матусовский), «На безымянной высоте» (В. Баснер и М. Матусовский), «Песня о тревожной молодости» (А. Пахмутова и Л. Ошанин), «Течет Волга» (М. Фрадкин и Л. Ошанин), «Мелодия» и «Надежда» (А Пахмутова и Н. Добронравов), «Родина» (С. Туликов и Ю. Полухин), «Комсомольцы-добровольцы» (М. Фрадкин и Е. Долматовский), «Хотят ли русские войны» (Э. Колмановский и Е. Евтушенко), «Песня о друге» (А. Петров и Г. Поженян).

И мне, например, обидно, что на стихи прекрасного поэта Евгения Винокурова написана только одна песня — «Москвичи» (музыка А. Эшпая). Но, как говорится, дай бог, чтобы у каждого из нас было по такой одной-единственной.

Всегда узнаются и волнуют песенные стихи Булата Окуджавы, с кем бы из композиторов он ни работал.

Интересно начал свой путь в песне Андрей Вознесенский. Его содружество с А. Бабаджаняном и М. Таривердиевым обещает много.

Есть настоящие удачи у С. Острового, А. Дементьева, Г. Горбовского, И. Шаферана, М. Танича и М. Пляцковского.

Список этот можно продолжать и дальше. Он, правда, не бесконечен, но достаточно велик. Это радует И все-таки я хотел бы ощутить реальное продолжение такого списка.

Пусть в нем появятся и молодые поэты и поэты маститые. Те, которые пока что не очень-то «снисходят» до песни.

Дело, конечно, не в том, чтобы все эти поэты — маститые и немаститые,— навалившись общими силами, как-то повысили «средний песенный уровень». Тогда не стоило бы затевать разговора.

Ведь если в экономике мы с полным правом можем оперировать такими понятиями, как «средняя производительность труда», «средний уровень производства», то в искусстве — литературе, музыке, живописи — не может быть никакого «среднего уровня».

«Средний уровень» искусства — это не искусство! Так что дело в том, чтобы на пути песен-однодневок, на пути безвкусицы, халтуры, бездарности был воздвигнут единственно реальный, надежный и прочный заслон

Заслон из т а л а н т л и в ы х п е с е н!

И здесь, конечно, мы не обойдемся без помощи наших собратьев по искусству — композиторов, музыкальных редакторов, аранжировщиков, дирижеров, звукорежиссеров и исполнителей.

Кстати, несколько слов об исполнителях.

Иногда считают, что главная их сегодняшняя беда в том, что они, исполнители, стали слишком усердно пользоваться микрофонами. Что раньше, дескать, этого не было. Что раньше все было гораздо объективнее: если у человека был голос, его было слышно и без микрофона. А если голоса не было, человек просто не пел. И что раньше голоса у певцов были намного сильнее, лучше.

Мне это напоминает разговоры «знатоков» о нашем довоенном футболе: «Вот раньше было — да! Помню, Степанов проходит по центру, потом ка-а-ак шарахнет! Боковая штанга — пополам!.. А Старостину целый сезон вообще запрещали бить правой ногой. Только левой. Потому что он правой трех защитников убил. За месяц...»

Может, звучит оно и впечатляюще, но это неправда. Так же, как и то, что раньше у «тех» певцов голоса были во много раз сильнее, чем у нынешних.

Не было этого.

И с микрофоном уже ничего нельзя поделать. Залы ныне огромные, гигантские залы. При любом голосе в таких залах без микрофона никто ничего не услышит. Да и к микрофонам все привыкли — и исполнители и слушатели.

Хотя к тому, что соревнования певцов, соревнования ансамблей порою превращаются в соревнования аппаратуры, привыкнуть нельзя.

Однако это издержки. Болезни роста. Кстати, вполне излечимые болезни.

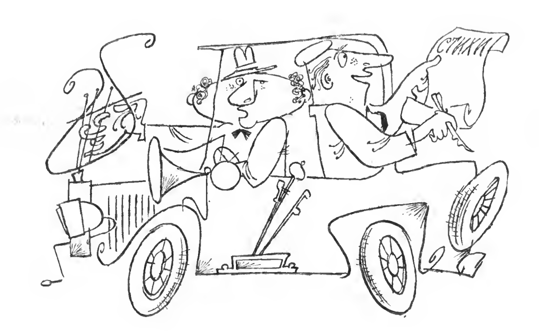
Талантливые исполнители у нас есть. Я мог бы назвать Л. Зыкину и Ю. Гуляева, Н. Брегвадзе и М. Магомаева, Э. Пьеху и И. Кобзона, Г. Ненашеву и Л. Лещенко, М. Кристалинскую и Э. Хиля, С. Ротару, А. Пугачеву и С. Захарова.

Я мог бы добавить к этому списку еще и Е. Камбурову, Ю. Богатикова, М. Пахоменко, В. Вуячича, и ансамбли «Песняры», «Дружба», «Ореро», «Гая», которые часто демонстрируют и высокую музыкальность и хороший вкус.

У нас появилось главное: появилась школа исполнения советской песни. Значит, обеспечен приход на эстраду молодых, способных артистов.

Так что, по-моему,— и, поверьте, это не просто беспричинный оптимизм,— у нас есть ч т о исполнять и есть к о м у исполнять.

И уж точно — есть для кого!



Есть народ, который не просто «читатель», «зритель», «слушатель». Прежде всего он хранитель. Хранитель традиций. Хранитель вечного песенного огня.

А дискуссии о песне идут и будут идти. Собственно говоря, идет одна бесконечная дискуссия. Идет, то чуть затихая, то вспыхивая с новой силой.

И порою каждая новая вспышка многими воспринимается так, будто до нее о песне никто, ничего, никогда не говорил.

Я же хочу закончить статью тем, чем начал,— выдержками из давних и недавних дискуссионных вспышек «Литературной газеты»:

«Профессиональные композиторы просто физически не в состоянии справиться с огромным спросом на песню. Зато охотно откликаются люди, которые вообще не имеют права заниматься поэзией и музыкой...»

М. Фрадкин, «Литературная газета», № 4, 1975 г.

«Мне недавно сказали, что в Москве существует около пяти тысяч так называемых вокально-инструментальных ансамблей (а попросту групп в четыре гитары и барабан), профессиональных и самодеятельных. Ради бога, не подумайте, что я выступаю против самодеятельного творчества. Я всячески за него. Но я признаю только такое, в котором есть труд и творчество...»

Л. Утесов, «Литературная газета», № 35, 1974 г.

«Пока педагоги, психологи, социологи ломают перья в поисках наиболее оптимальных средств эстетического воспитания, песня предлагает свои услуги «с доставкой на дом» по весьма сходной цене и плюс ко всему в элегантной модненькой упаковке. Не будучи коротко знакомыми с подлинными достижениями классической и современной лирики, иные (а этих иных много) молодые люди с полным основанием считают песню, ту самую песню, которую мы, критики, так дружно браним за пошлость и языковую неуклюжесть, арбитром хорошего вкуса, морали, красоты... Доколе будет калечиться не только эстетический, но и нравственный вкус юношества? Доколе ретивые текстовики будут научать молодых людей нормам и правилам, словно вытащенным из прабабушкиного комода?..»

С. Чупринин, «Литературная газета», № 28, 1973 г.

«Странное дело! Желать одних песен и более ничего, ни на что не походит. Кажется, что такой охоты не бывало в Греции и Италии, где народ с утра до вечера пел и плясал; а наши православные и ездят по балам, и торгуют, и сеют хлеб, и курят табак, да еще при том успели прочитать 126 000 одних песенников. Верно, тут кроется что-то недоброе!..»

И. Сахаров.

Это уже не из «Литературной газеты».

Цитата взята из предисловия к пятитомному сборнику «Песни русского народа». Сборник издан в Санкт-Петербурге. Год издания — 1838.

Чувствуете, как давно началась наша дискуссия?

„Как создавалась эта книга?.."



Дорогая редакция!

Недавно писательница Агния Барто выпустила книгу «Найти человека». В ней рассказывается о поисках людей, которые потеряли своих родных во время войны. Не могли бы вы рассказать о том, как создавалась эта замечательная книга? Я уверен, что никто не сможет остаться равнодушным к такой публикации.

Константин ПАНФЕРОВ

Москва.

Группа студентов МГУ ознакомилась с огромной почтой Агнии Львовны Барто, связанной с многолетней работой писательницы по розыску близких, разлученных войной... Около ТЫСЯЧИ человек найдены в результате этой благородной деятельности. Читатель знает три издания волнующей книги А. Барто «Найти человека», в которой автор делится открытым ею принципом поисков «без точных данных», говорит о том, как в них участвуют тысячи советских людей. По заданию нашей редакции Ольга Черных (работающая сейчас в Центральном государственном архиве литературы и искусства) написала о текущей почте А. Барто. Это первая публикация О. Черных.

Почта Агнии БАРТО



ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Я читала эти письма и чувствовала, как ломают они наше представление о том, каким должно быть письмо — «образец эпистолярного жанра». В этих письмах не было ничего от литературного творчества. Эти письма трудно было читать, их надо было слушать, потому что они говорили.

«...Только то помню, что наш дом стоял на углу улицы, мать высокая ростом звали вроде Катя, была собака помню, овчарка по кличке «Джек». «...Я тогда поднялась и пошла, куда не знаю».

Я не расставляла недостающих знаков препинания, не переставляла слов местами по правилам грамматики. Мне хотелось сохранить в неприкосновенности слово, такое необычное для нас, в сущности, устно сказанное: не написанное, а запечатленное на бумаге. Мы к такому не привыкли. Мы говорим: «Как прекрасно пишет этот человек!» — и это значит, что письма нашего знакомого безупречны стилистически. Мы говорим: «Пишет он совсем плохо», — когда встречаем выражения типа «желаю счастья, здоровья и успехов в личной жизни». Письма, с которыми я неожиданно столкнулась, не приемлют подобной оценки. Люди, их приславшие, менее всего заботились о правилах писания: «Просим умоляем выслушать нас стариков пенсионеров письменно».

В этой строчке — парадокс, который определяет особенность общения Агнии Львовны Барто с бесчисленными корреспондентами.

Нет необходимости Агнию Барто кому-нибудь представлять. Со стихами ее связано детство каждого из нас: сначала их читала нам мама, потом сами учились читать. Стихи эти для такого чтения предназначены: сначала слушать, потом читать своим детям. Поколение за поколением.

Этот естественный ход событий был нарушен в 1941 году — одно из поколений «выпало». Дети, для которых писала Барто, оказались лишенными детст-

ва, некоторые из них — в бомбежку, на переполненных вокзалах, в концлагерях — отстали от родителей, потерялись. Вскоре после войны Барто написала об этих детях поэму «Звенигород», читателям которой принадлежали первые письма с просьбой разыскать родных. В 1964 году Барто решила попробовать поискать потерявшихся в войну детей по радио Так родилась передача «Найти человека».

Агния Барто совершает, казалось бы, невероятное: находит людей, не знающих своей настоящей фамилии, находит по давним воспоминаниям, которые неожиданно совпадают с чьими-то, еще по едва уловимым приметам. Поиск этот необычный: строится он в основном на общении с людьми, и успех его зависит от того, насколько люди к общению способны, насколько способны раскрыться перед другим, почти что незнакомым человеком и поверить ему. А результаты, к которым этот поиск привел, поразительны. Доказывают они, что Агнии Барто удалось победить инертность и скованность, добиться при общении с людьми на огромном расстоянии такой доверительности, какая иногда и не снится нам в теснейшей близости. Слово Барто, тиражированное, звучащее одновременно во всех уголках страны, не теряет своей разговорной непосредственности. И слову этому верят, как чему-то почти сверхъестественному. «Неужели может случиться ч у д о! — и я найду через Вашу передачу своих родных!» К Барто обращаются люди, потерявшие было надежду, отчаявшиеся, как к последней силе, которая может помочь. «Я прошу Вас, прошу как самого доброго человека — помогите найти брата Толика, сестру Раю!». «Теперь надежда осталась на Вас, дорогая Агния Львовна». «Если уж в этот раз не найду, тогда все закончу, значит, нет моих родных, буду знать, что одна». Не просто вера, а даже какая-то суеверность появляется в некоторых письмах: «Мне давно хотелось написать именно Вам, и что моя ниточка оборвется именно на Вас».

И не случайно — это закономерно: дело, которым занимается Барто, не всем под силу, дело это касается самых основ человеческого бытия. «Агния Львовна! Вашу лепту народ будет долго помнить и вспоминать хорошим добрым словом, потому что Вы их сроднили, второй день рождения, а радость-то какая! Столько лет не видеться, и вдруг». Второй день рождения. Агния Барто дарит человеку, как новорожденному, мать и отца, имя, родные места.

«Что в имени тебе моем?» В старину считалось, что, нарекая человека именем, ему предначертывают судьбу, определяют место в жизни, приобщают к какой-то традиции, дают могущественного покровителя. Предание это давно забылось; большинство корреспондентов Агнии Барто не знают своего настоящего имени, всю жизнь живут под чужим. Казалось бы, какая разница: Таня, Маша? «Фамилия Полякова Анна, имя, правда, немножко сомневаюсь, вот почему-то кажется, что звали меня Галей». Пишет женщина про дочку: «Один раз пришла со школы и плачет, а потом говорит. «Почему у нас такая фамилия—Неизвестная? Меня в школе дразнят: бесфамильная, икс и т. д.». Может, вспоминают имя только для того, чтобы помочь в поисках? Нет, обретя это — настоящее — имя, уже не расстаются с ним, хотя, казалось бы, проще продолжать подписываться привычным. Читаешь такие письма, и собственное твое имя вдруг начинает звучать по-новому, наполняется смыслом. Вспоминаешь, а почему именно так назвали тебя, близких тебе людей? Кого в честь дедушки, кто просто в «Татьянин день» родился...

Представлена в письмах вся география нашей Родины, откуда только не пишут! А в каждом письме и своя география: где воспитывался, какие сменил детские дома, где живет сейчас? И только одного не знает почти никто из написавших: где родился, где жили родители, где та земля, которую можно назвать землей предков. У каждого из нас есть самое родное, единственное место на свете. Мы можем прожить в этом месте всю жизнь, а можем покинуть его, но всегда у нас сохраняется возможность возвращения, пусть даже ей не будет суждено реализоваться. Мы знаем, откуда мы родом, приславшие письма тоже хотят знать это. «Я помню, деревня, в один ряд дома, с одной стороны речка, с другой стороны дорога, и сразу сад во всю дорогу. Место очень красивое». «Знавшие меня в детстве говорили, что произношение у меня было украинское или белорусское». «По национальности дедушка и бабушка русские, дедушка обязательно»,— пишет женщина из Душанбе, все детство проведшая в детском доме в Фергане. Человек не может жить без корней, ему необходимо черпать откуда-то жизненные силы. И как-то очень конкретно задумываться начинаешь над тем, что вкладываем мы в понятие «Родина».

Второй день рождения. Агния Барто одаривает им не только потерявших было надежду людей. Сама, возможно, не ожидая того, дает она новую жизнь понятиям, мимо которых мы проходили, не задумываясь. Привычные слова и словосочетания обновляют свое значение, возрождаются, освобождаются в нашем понимании от автоматизма. К Барто пишут люди, завороженные словом «сирота», пишут: «я один на свете»,— и тут же выясняется, что у него любимая жена и трое детей. Человеку не хватает родных в первичном, изначальном смысле этого слова. Кстати, все заранее уверены, что эти родные им подойдут. Какие же могут быть препятствия? «Мы бы с сестрой хоть пожили остаток жизни вместе (если, безусловно, она живет на белом свете в Советском Союзе)». Лишь бы «своя» была. Можно поссориться с братом, но знаешь всегда, что ему небезразлична твоя судьба и что мама переживает твои печали больней, чем свои собственные.

Письма, которые получает Агния Барто, сугубо индивидуальны, их цель — оказать практическую помощь в поисках. Цель эта достигается, и, кажется, можно о письмах забыть. Но есть в этих письмах что-то, что забыть не позволяет: некая общечеловеческая значимость.

Эти письма поворачивают нас лицом к нашим истокам, к вещам непреложным и вечным. И оказывается, что никуда они не исчезли и исчезнуть не могли. Не через них ли осуществляется связь времен, поколений; не благодаря ли им человек всегда может понять другого? Надо только почаще об этом вспоминать.

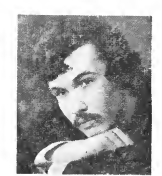
Ольга ЧЕРНЫХ

Никита Владимирский



стихи





Никите Владимирскому
23 года.
В прошлом году он
окончил Московский
государственный
педагогический институт
иностранных языков
имени Мориса Тореза.
Сейчас преподает
английский язык
в МГУ.

✪

«Туман в оптическом прицеле...»
К. ВАНШЕНКИН

Военные поэты
все пишут про войну,
и перед болью этой
я чувствую вину.
За то, что год из года
нелегкою строкой
опять идет пехота —
идет в последний бой.
За то, что вновь в апреле
сирени
снятся
нам.
А им —
опять «туман
в оптическом прицеле .»

Долг

Звезда, прилипшая к закрытому окну —
Как неподвижный глаз аквариумной рыбы.
А там легла во всю свою длину
Дорога гиблая, истертая на сгибах.

Там спицы-пальчики ломаются, пучась,
И режут дождь в неспешном провороте...
И все же мы вверяемся подчас
Их суетливой старческой заботе.

Там колдовской, там лошадиный шаг.
Там колготной и колкий серый дождик
Блестит на конских лаковых ушах
И пропадает в пропасти колдобин.

Зачем же едут по ночной воде,
На долгий дождь и время не в обиде!
Пакет доставить! Выручить в беде!
Кого-нибудь в последний раз увидеть!

✪

Сумасшедший июнь,
месяц полный прощаний и плача,
тополиный уют
раздает свои белые платья.
Круговерть в золотом,
выцветающем к вечеру ситце,
и твоим каблуком
след оттиснут, как белым копытцем.
Полыхают цветы
в окнах старых арбатских проулков,
от ночной духоты
разбросались в ночи переулки.
Седина тополей,
жарких дней кочевая простуда,
и в походке твоей
ожиданье случайного чуда.

✪

Зима пуста — как циферблат без стрелок.
И лишь колючий снег из-за угла —
Наперерез, навстречу — сух и мелок,
Шуршит, скользя вдоль черного стекла.

Но мне слышней троллейбусная тряска;
Троллейбус разбегается, скользит,
То катится, как детская коляска,
То к Трубной — как по лестнице — летит.

Там, подложив под голову устало
Широкие ладони площадей,
Мой город спит — великий даже в малом,
Придуманный людьми и для людей.

✪

Военные звезды,
И воздух скрипуч, как сапог.
Грачиные гнезда
припомни, шагнув за порог.

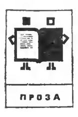
А в парке Петровском
Отечества стелется дым,
листва на дорожках —
как давние чьи-то следы...

Пусть много утрат,
но строга и спокойна Москва.
А в наших дворах
довоенная
кружит
листва.

✪

На лапах кошка принесла
Седую изморось рассвета
И, теплотой людской согрета,
Заснула в кухне у стола.

Проснулась, заподозрив свет,
Спросонья выгнулась с урчаньем
И повторила очертаньем
Горбатых улиц силуэт.



Зиновий ЮРЬЕВ

БЫСТРЫЕ СНЫ

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Глава 11

На следующий день я позвонил Нине и попросил разрешения проводить ее домой. Она опять долго дышала в трубку, молчала и наконец согласилась.

Я приехал на пятнадцать минут раньше срока. По дороге я с трудом подавил в себе желание купить букет цветов. Я уже подошел было к старушке в тоннельчике у Белорусского вокзала и полез в карман за деньгами, как вдруг представил себя у входа в институт. Жених. Имбецил с букетом. Я вздохнул. Старушка соблазнительно встряхнула свои чахлые цветочки и зазывно посмотрела на меня. Я вынул руку из кармана, так и не вытащив денег, и в глазах продавщицы засветилось радостное презрение. Так тебе и надо, говорили они. Ты и с цветами был бы не очень-то, а уж без них и вовсе нечего ходить на свидание. Ноги только бить. Сидел бы в обнимку с телевизором.

А может быть, все-таки надо купить цветочки? Скромный букетик, преподнесенный исследователю благодарным кроликом.

Похоже было, что в их институте никто никому никогда не назначал свиданий, потому что каждый второй выходящий с глубоким интересом рассматривал меня. А возможно, это я вздрагивал и поворачивался, когда взвизгивала тяжеленная дверь и выпускала в облачке пара очередного лаборанта.

Нину я не узнал. Я сообразил, что она стоит подле меня, только тогда, когда она сказала:

— Здравствуйте...

Я засмеялся.

— Господи, я же ждал женщину в белом халате. Я вас видел только в белом халате. Простите меня.

Нина взяла меня под руку.

— Жалко, что у меня нет портфеля,— вздохнула она.

— Почему?

— В девятом и десятом классах я ходила домой вместе с одним мальчиком, и он всегда нес мой портфель. Свой и мой.

— Счастливый мальчик.

Нина неторопливо и внимательно посмотрела на меня сбоку, словно изучала, гожусь ли и я на роль мальчика, несущего портфель. Господи, только что я смотрел на гордого Сережу Антошина, который шел рядом с Аллой Владимировой и кис от счастья. И вот я иду рядом со своей Аллой и тоже молю небо, чтобы подольше идти так по зимней слякоти, ощущая легкое прикосновение ее руки к моей.

Рисунки Г. КАЛИНОВСКОГО.

Окончание. Начало см. в № 3 и № 4 за 1976 год.

— И что стало со счастливым мальчиком? — спросил я.

— Он стал моим мужем,— медленно, словно вспоминая, как это было, сказала Нина.— А потом... потом, когда носить портфель было больше не нужно, выяснилось, что нас мало что связывает...— Нина усмехнулась, и усмешка вышла невеселая. Ее лицо сразу постарело на несколько лет.

Я молчал. Всей своей шкурой болтуна я знал, что надо промолчать. Любое слово было бы пошлым. Любой жест был бы оскорбительным, даже легкое пожатие ее руки. Никто не бывает так чуток к реакции на свои слова, как болтуны. Слишком часто они говорят не то и не тогда, когда нужно.

Нина вдруг остановилась у освещенной витрины. В витрине стоял манекен в длинном черном платье с расшитым серебром подолом.

У манекена было напряженно-несчастное пластмассовое лицо. Наверное, ей было холодно, и ее не радовало черное платье за сто четырнадцать рублей тридцать копеек.

— Красиво? — спросил я.

— Что? Ах, вы про платье? Наверное, красиво...

Мы отошли от витрины.

— Что говорит Борис Константинович? — спросил я.

— Вы должны понять его.— Нина словно обрадовалась, что разговор выбрался с ее прошлого на твердую землю нашего эксперимента.— Он видит, конечно, что ЭЭГ получается фантастическая. Ничего похожего никогда никем не было замечено. И поразительно точное совпадение начала первого быстрого сна, и одинаковая продолжительность всех быстрых снов, и увеличивающиеся интервалы между ними. С другой стороны, что все это могло бы значить? Можно утверждать, что в паттерне вашего сна... Простите, я сказала паттерн...

— Я понимаю, Нина, это же английское слово. Образец, схема...

— Совершенно верно. Так можно ли утверждать, что паттерн этот служит безусловным доказательством искусственности, наведенности периодов быстрых снов и соответственно ваших сновидений? Соблазн велик, конечно, но убедительны ли будут наши рассуждения? Да, скажут мужи, ЭЭГ в высшей степени странная, слов нет, но при чем тут космическая мистика? И нам нечего будет ответить. Знаете, Борис Константинович — очень осторожный человек. Это не значит, что он трус...

— Судя по тому, как я должен был его уламывать...

— Вам и меня пришлось уламывать... Поймите же, мозг ученого — это главным образом сепаратор.

— В каком смысле?

— В самом элементарном. Думая, пытаясь истолковать результаты опытов, ты занят в основном отсевом, отбраковкой негодных предположений. Мозг ученого приучен безжалостно отбрасывать всю чепуху. А вы приходите и настаиваете, чтобы мы занимались как раз тем, что всегда отбрасывали как чепуху. Попробуйте, влезьте в шкуру шефа... Но он, повторяю, не трус. Да, он человек суховатый, упрямый, но если он уж приходит к какому-то заключению, он не отступит от него, даже если придется идти напролом.

— Значит, пока вы не пришли ни к какому выводу?

— Пока нет. Вначале мы подумали, что, может быть, само число быстрых снов — десять — что-то может значить. Это значительно больше, чем наблюдается обычно. Обычно их бывает пять-шесть. Но во втором опыте, как вы слышали, их было уже не десять, а одиннадцать. Что будет в следующем? Может быть, двенадцать, а может быть, шесть. У нас мало материала. С такими данными нельзя делать никаких утверждений. Я построила самый примитивный график. Вот он, вы просили, чтобы я вам его принесла.— Она достала из сумочки листок бумаги.— Он ничего не говорит. Десять и одиннадцать точек на разном расстоянии друг от друга. Расстояния эти, правда, увеличиваются, но случайно ли увеличение или подчиняется какой-то зависимости, мы пока еще не знаем. Нужны новые серии экспериментов.

— Нина,— вскричал я с пылом,— я готов переехать в вашу лабораторию! Навсегда. Мы купим портфель, и я буду всегда носить его вам...

Будь проклят мой язык! Я все-таки ляпнул глупость. Нинина рука в моей сжалась. Я почувствовал, как она вся съежилась. Впервые за весь вечер я услышал ее мысли. «Не надо,— повторяла она про себя.— Только не надо».

— Простите, Нина.

Она промолчала. Она была ранима, как... Я хотел было подумать, «как цветок», но сравнение было пошлым. Нина обладала удивительным качеством отфильтровывать пошлость. Наверное, мальчик с двумя портфелями не прошел через этот фильтр.

— Мне в метро,— сказала Нина.

— Я провожу вас до дому.

— Не нужно, Юра,— мягко сказала она.

— Я не хотел вас обидеть.

— Я знаю. Я нисколько не обижена на вас. Разве что на себя. До свидания.

По лицу ее скользнула слабая, бледная улыбка, она кивнула мне, повернулась и исчезла в облаке яркого пара, всосанная человеческим водоворотом, бурлившим у входа в метро. Я бросился было за ней, но остановился. Не нужно преследовать ее. Две ошибки за вечер — это многовато.

Уже не спеша, я вошел в метро, постоял зачем-то в очереди за «Вечеркой», нетерпеливо развернул ее, словно ждал тиража вещевой лотереи или последних известий с Янтарной планеты.

Я вышел на своей остановке и понял, что мне не хочется идти домой. Видеть Галю, ловить на себе ее участливые взгляды.

Нет, она ни в чем не виновата передо мной, и в этом не главная вина. Люди прощают виноватых. Но невиновных никогда. Она заботилась обо мне и хотела, чтобы я был здоров. Ужасное преступление для жены. Я вздохнул. Ощущение предательства не самое приятное ощущение. Кому-то оно, может быть, и приятно. Не знаю.

Я позвонил Илье. Он был дома и через полчаса уже втаскивал меня к себе.

— Ну? — закричал он.— Есть что-нибудь?

— Да нет, Илюша. Ничего окончательного.

— Что за тон? Что за интеллигентские штучки? Что за физиономия опечаленного олигофрена?

— Да понимаешь, старик...

— Я тебе не старик. И брось этот жигалинский лексикон. Выкладывай, что случилось.

С Ильей нельзя кривить душой.

В его присутствии даже самая мягкая душа никак не может кривиться.

— Илюша, я чувствую, что мы с Галей неудержимо расходимся. Мы идем разными курсами...

— Подожди, при чем тут Галя? При чем ваша семейная жизнь? Я часто называл тебя олигофре-

ном шутя, но я вижу, в каждой шутке доля правды. Какая семейная жизнь, какой развод? Как ты смеешь говорить об этом, когда твою дурную голову избрали в качестве приемника братья по разуму? Одно из величайших событий в истории человечества — гимн материалистическому, атеистическому восприятию мира, а ты подсовываешь свою семейную жизнь. Да разве это соизмеримые величины?

Мне стало стыдно. Илья был прав. Но умение мыслить большими категориями — удел больших людей. Улетай я завтра на Янтарную планету, я бы и тогда, наверное, убивался из-за того, что запутался в двух женщинах.

Я посмотрел на себя Илюшкиными глазами. Он был абсолютно прав. Зрелище не из приятных.

Хныкающий идиот.

— Ладно, эмоции потом. Я тебе говорил по телефону, что они решили проделать второй эксперимент. Я спал у них еще раз.

— И как?

Илья сделал неосторожное движение ногой, и с книг, лежавших на полу, взметнулся высокий столбик пыли.

— Пошли на кухню.

Я рассказал Илье о втором эксперименте.

— Нина Сергеевна дала мне график. Вот он, я еще сам его не видел.

На горизонтальной оси были отложены точки. Первые три почти рядом друг с другом. Остальные на все большем и большем расстоянии.

— А почему эта точка отмечена особо? — спросил Илья, показывая на шестую точку.

— Потому что в первом эксперименте ее не было. Она появилась только во втором. В первом было десять точек, во втором — одиннадцать.

— Чепуха! Почему именно эта? Почему вы не отметили, скажем, вторую или одиннадцатую точку?

— Не знаю, я как-то не подумал об этом.

— Не подумал! Господи, я всегда этого боялся больше всего. Братья по разуму протягивают нам руку и попадают в идиота.

— Можно подумать, ты только и делаешь, что ждешь братьев по разуму.

— Юрочка,— сделал забавную гримасу Илья,— что я вижу? Ты огрызаешься? Старшим? Правильно, не можешь лаять на своего директора школы — лай на друзей, это безопаснее.

— Илья, хочешь, я тебе врежу как следует?

— Ты? Мне? — Илья нарочито скорчился от хохота, качнулся.

Стул, на котором он сидел, зловеще хрустнул, и Илья успел вскочить как раз в тот момент, когда он начал рассыпаться.

— То-то,— сказал я.— Так будет с каждым, кто покусится...

— На что?

— Вообще покусится.

— Слушай, Юраня,— вдруг сказал Илья.— Ты хоть фамилию своей Нины Сергеевны знаешь?

— Знаю. Кербель.

— Вот тебе телефон. Ты набираешь ноль девять. Всего две цифры, это не трудно, уверяю тебя. А когда ответит женский голос, ты произнесешь всего три слова: личный телефон, пожалуйста. Со временем тебе ответит еще один женский голос. Ты скажешь: «Нина Сергеевна Кербель»,— и она назовет тебе номер телефона. Это не так уж сложно. Хороший попугай, если бы он мог держать трубку, сумел бы сделать это. Давай звони.

— Я не попугай. Я не могу.

— Почему? Ты брезгуешь? Трубка чистая, я вытираю ее ухом по нескольку раз в день.

— Я с Ниной Сергеевной...

— О боже,— простонал Илья.— Судьба послала мне в друзья ловеласа, дон-жуана, казанову. Не пропустит ни одной женщины, с каждой ухитрится поссориться.— Илья вдруг пристально посмотрел на меня.— Это... это как-то связано с Галей?

Такой толстый шумный человек и такой проницательный.

— Да,— сказал я.

— Я позвоню сам.

Он довольно быстро дозвонился до справочной и получил телефон Нины Сергеевны.

Хоть бы ее не было дома, она же подумает, что это мои детские штучки. Попросить позвонить товарища. Хлопнуть портфелем по спине. Дернуть за косу.

— Нина Сергеевна? — спросил Илья.— С вами говорит некто Плошкин. У меня сейчас мой друг Юрий Михайлович Чернов, и мы как раз рассматривали график... Он сам? Он пытается вырвать у меня трубку.

Илья протянул мне трубку и некрасиво подмигнул.

— Нина...— промямлил я в трубку.

Сердце билось, словно я заканчивал марафонскую дистанцию.

— Юра, вы, наверное...— Нина замолчала, и я услышал в трубке ее дыхание.— Вы, наверное, рассердились. Я не хотела обидеть вас...

— Нет, что вы! — закричал я.— Я совершенно не обижен.

Маленькую Илюшину кухню заливал янтарный свет. Цвет, в который красит стволы сосен вечернее солнце, продираясь сквозь сизые июльские тучи.

— Ваш товарищ что-то хотел спросить...

— Дай мне,— сказал Илья и вырвал у меня трубку.— Нина Сергеевна, у моего друга стало почему-то такое выражение лица, что я не могу доверить ему серьезных научных переговоров. Нина Сергеевна, мы не могли понять на вашем графике, почему вы новую одиннадцатую точку во время второго опыта поместили не в конце, например, а между пятой и шестой? — Илья слушал и кивал головой.— Ага, понял. Я так и подумал. Спасибо, Нина Сергеевна.

Илья положил трубку.

— Понимаешь, расстояние между всеми точками осталось во втором опыте точно таким же, как в первом. И новая точка, похоже, вклинилась между пятой и шестой. Гм, интересно...

Илья положил перед собой график и тихонько загмыкал. Гмыкал он долго, но ничего, очевидно, не надумал, потому что повернулся ко мне и спросил:

— Есть будешь?

— А что у тебя?

— Жюльен из дичи, ваше сиятельство. Также рекомендую вашему вниманию седло дикой серны и вареные медвежьи губы. Но больше всего, ваше сиятельство, мы гордимся нашим фирменным блюдом — пельменями московскими!

Илья поставил на огонь кастрюльку с водой, подождал, пока она не начала бурлить, и высыпал в нее пельмени.

Пельмени булькнули и утонули и сразу успокоили расходившуюся воду.

— Ваше сиятельство, как только какая-нибудь из утопленниц вынырнет на поверхность, бросайте ей спасательный круг.

Кого благодарить за такого друга, как Илья? Не знаю, что б я сделал ради него.

Мы ели пельмени, молчали, и я ни о чем не хотел думать.

Глава 12

Мы проделали еще два опыта. Они в точности повторяли результаты двух предыдущих, за исключением одной детали. Эта проклятая лишняя точка то появлялась, то исчезала, просто подмигивала нам с графика. Нина Сергеевна и профессор решили продолжать опыты на следующей неделе.

Я смотрел по телевизору спортивную программу. Где-то на другом конце света наши борцы припечатывали к ковру противников. Они долго толкались, упершись лбами друг в друга, пока один из борцов вдруг не хватал противника за ноги...

Галя сидела около меня. Она любит спортивные передачи гораздо больше меня, ни одной не пропускает. Я незаметно посмотрел на нее сбоку. Лицо сосредоточенное, серьезное, собранное — она и зрителем была энергичным. На ней был ее голубенький стеганый халат, который ей очень идет. Я вдруг подумал, что никогда, наверное, не видел ее неряшливо одетой или непричесанной. Галя. Га-ля. Я попробовал имя на язык. Имя было мягкое. Такое же, как и имя, которое я ей дал. Люша. Люш. В чем же она виновата? Она виновата только в том, что я пытаюсь столкнуть на нее ответственность за Нину. Нет, не я, видите ли, разлюбил ее, нет, нет, нет, это она сама виновата. Слишком заботилась о моем здоровье.

Бедная Люша, она этого не заслужила. Разве она виновата, что маленькой ее головке легче думать о простых, ясных делах, которые можно решить, сделать, чем о неясных, романтических и космических фантазиях. Старый, как мир, спор между реалистами и романтиками. Я поймал себя на том, что мысленно умиляюсь своему романтизму. Опасный симптом. Еще шаг — и начнешь вообще восторгаться собой. Романтик, знающий, что он романтик, уже не романтик.

Га-ля. Га-ля. Я повторил имя жены несколько раз про себя. Но волшебство звуков не вызывало привычной нежности. А я хотел, я ждал, пока из глубин сердца подымется теплая, таинственная нежность к этому маленькому существу, что сидело рядом со мной и зачем-то смотрело на толкавшихся лбами борцов.

Я знал, что поступаю нечестно, но я положил руку на Галино плечо. Я почувствовал, как она сжалась. Она все понимала. Она никогда не обманывала себя. Она всегда отважно выходила навстречу фактам — один на один, ибо часто я бывал ей в этих сражениях слишком плохим помощником. Ты страус-оптимист, говорила она. Ты прячешь голову в песок и надеешься, что все как-нибудь обойдется.

Да, она не ошибалась сейчас, как не ошибалась почти никогда. Я все еще продолжал упрямо надеяться, что все образуется, утрясется, устроится и будет хорошо. Она взяла мою руку и мягко, почти ласково сняла со своего плеча.

Зазвенел дверной звонок. Я открыл дверь, и в прихожую вихрем ворвался Илья.

— Солнечная система! — крикнул он так, как никто еще никогда не кричал в нашем кооперативном доме-новостройке. Мы слишком дорожили им. Дом содрогнулся, но устоял.

— Что? Илюша, что случилось? — вскочила Галя.

— Это Солнечная система, Галка, вот что! Ты понимаешь, что я говорю? Солнечная система!

Он схватил мою жену, поднял на руки и попытался подбросить ее вверх, но она уцепилась за его шею.

— Ты что, сдурел?

— Сдурел, не сдурел, какое это имеет значение? — продолжал исступленно вопить Илья. Лицо его раскраснелось, глаза блуждали.— Одевайся немедленно! Едем!

— Куда? Что случилось? Да приди же в себя! — в свою очередь, начала кричать Галя.

Случилось в конце концов то, что должно было случиться, пронеслось у меня в голове. Человек, который всю жизнь проводит в пыли, должен был раньше или позже соскочить с катушек.

— Точки! — взвизгнул Илья.— Вы олигофрены! Вы одновременно идиоты, имбецилы и дебилы! Я ж вам говорю: точки! Десять точек! Галя, как ты можешь нести такой крест,— уже несколько спокойнее проговорил Илья,— жить под одной крышей с таким тупицей? Ты график помнишь? — обернулся он.

Я почувствовал, как сердце у меня в груди рванулось, точно спринтер на старте. Я все понял.

— Точки на графике?

— На графике. Десять точек — Солнце и девять планет.

— Но ведь...

— Интервалы соответствуют расстояниям между Солнцем и планетами. Абсолютно те же пропорции. Ты понимаешь, что это значит? Я тебя спрашиваю, ты по-ни-маешь? Это же все. Это то, о чем мы только могли мечтать! Случайность полностью исключается. Вероятность случайного совпадения десяти чисел — это астрономическая величина с минусовым знаком. Это то, чего мы ждали, Юраня! Они не только действительно существуют, они знают, где мы.

Галя, как завороженная, смотрела на Илью. Вдруг она начала дрожать.

— Что с тобой? — спросил я.

— Ни-че-го,— не попадая зубом на зуб, пробормотала она.

— Ты, может быть, ляжешь?

— Не-ет. Илья,— сказала она, и я почувствовал, что Галя напряглась, как борцы, которые все еще медленно ворочали друг друга на ковре.— Илья, ты не шутишь?

— Нет,— торжественно сказал Илья.— Шутить в исторические минуты могут лишь профессионалы-остряки.

— И это правда? — с яростной настойчивостью продолжала атаковать его Галя.

— Что правда? Что ты спрашиваешь, о чем ты говоришь?

— Все, что говорил Юрка... Сны, телепатия... Это правда?

— О боже! — застонал Илья и застучал себе кулаком по лбу.

— Значит, это правда,— всхлипнула Галя и повалилась на тахту головой вниз. Плечи ее вздрагивали. Одна домашняя туфля упала на пол, и маленькая ее пятка казалась совсем детской и беззащитной.

— Не нужно, Люш,— я погладил ее плечо.

— О боже, боже! — снова запричитал хором греческой трагедии Илья.— В такую минуту выяснять отношения... Нет предела человеческой глупости.

— Илья,— сказал я, продолжая поглаживать все еще вздрагивавшее Галино плечо,— а как же одиннадцатая точка? Или это еще не открытая планета?

— Ну, хоть вопрос догадался задать. Одиннадцатая точка непостоянна. Она то появляется, то исчезает, но всегда на одном и том же месте, между орбитами Марса и Юпитера. Тем самым нам говорят: это не планета, она непостоянна. Что же это? Это их корабль, который прилетел в нашу Солнечную систему. Ну? Ну? Хватит с вас, обезьянки? Можете вы прекратить вашу микроскопическую возню? Или вы на это не способны? Одевайтесь немедленно!

— Зачем?
— Мы едем.
— Куда?
Илья скрипнул зубами, схватил меня своими ручищами и основательно тряхнул.
— К твоей Нине Сергеевне.
У меня закружилась голова. Зачем ехать к Нине Сергеевне? Ах да, это же по поводу графика. И я вдруг понял всем своим нутром, что говорит Илья. Он прав. Не тем я оказался человеком. Мы получили доказательство контакта, первое объективное доказательство существования разумной внеземной жизни, а я вместо того, чтобы осознать все величие момента, копошусь в каких-то мелочах.
— Уже десять. Начало одиннадцатого.
— Какое это имеет значение? Десять? Десять и одиннадцать точек — вот что имеет значение!
Прав, прав Илья. Какое нам дело до времени? Его сумасшедший азарт начал передаваться и мне. Уходили назад, теряли резкость волнения последних дней. Нина, Галя. Галя, Нина. Илья прав. Тысячу раз прав!
— Вставай! — крикнул я Гале.— Илья прав, надо ехать, немедленно!
— К этой Нине Сергеевне?
— К ней.
— Я...
— Ну! — сжал кулаки Илья.— Брось свои бабские штучки! Ты же выше этих глупостей! Ты же человек, а не кухонное животное!
Галя вскочила на ноги и вдруг чмокнула Илью в щеку. О, боже, мир положительно непознаваем!
— Я люблю тебя! — пропела Галя и умчалась в ванную.
Я начал натягивать на себя свитер.
— Как ты догадался? — спросил я Илью.
— Если бы я... Это не я. Я разговаривал с одним приятелем по телефону. Так, о делах. Он физик. А в голове все время сидит график. Я говорю: «Боря, что могли бы значить десять точек, интервалы между которыми все увеличиваются?» Он говорит: «Не знаю. Планет, например, девять, а что такое десять, не знаю!» И смеется, дубина. Сострил. Я кладу трубку, достаю график и начинаю смотреть на него. Десять точек. И интервалы слева направо все увеличиваются. И точки — как планеты, только все одинаковые. И тогда, как в трансе, я взял карандаш и нарисовал новый график. Первая точка, первая слева — Солнце. За ней, почти рядом — крошечный Меркурий, дальше Венера, Земля, Марс и так далее. Сердце у меня заколотилось, на лбу выступила испарина. Но расстояния, расстояния между планетами?
— Я готова,— пропела звонким голоском Галя, входя в комнату.
Я посмотрел на нее и ахнул. Давно уж она не казалась мне такой победно красивой.
Я запер квартиру, мы пошли вниз к машине, а Илья продолжал рассказывать:
— Что вам сказать, мои маленькие, глупые друзья? Я нашел старую, добрую «Занимательную астрономию» старого доброго Перельмана, да будет земля ему пухом. И выписал оттуда расстояния планет от Солнца в астрономических единицах. Астрономическая единица, если вы помните,— это расстояние от Земли до Солнца. Приблизительно сто пятьдесят миллионов километров. Меркурий — ноль целых тридцать девять сотых, Венера — ноль семьдесят две и так далее до Плутона, который отстоит...
— Илья, а куда ехать? — перебил я его.
— Улица Зорге.
— А как ты узнал адрес?
— У нее самой... Я измерил расстояние между точками на графике и сравнил с таблицей, которую выписал из Перельмана. Пропорции абсолютно те же.
— Илюша, ты гений. Пыльный, но гений,— сказала с твердой убежденностью в голосе Галя.
— Другой стал бы спорить,— шумно, по-коровьи вздохнул мой друг.
Дом мы нашли быстрее, чем я рассчитывал.
— Я быстро,— сказал Илья.
— А мы? — спросила Галя.
Сегодня был ее час. Сегодня она чувствовала себя победительницей. Сегодня она взяла в союзницы Солнечную систему. Ах, Галка, Галка, экая ты воительница!
Я повернул голову и посмотрел на жену. Она посмотрела на меня. Может быть, мне показалось, а может быть, у нее действительно сверкнула в глазу крошечным бриллиантиком слезинка.
— Люш,— сказал я.
— Тш-ш,— прошептала Галя,— молчи...
Я замолчал, а она положила свою голову мне на плечо. Я вдруг подумал, что это глупо — Илья пошел к Нине Сергеевне, а я сижу с Галей в машине. Но все в этот вечер потеряло смысл или приобрело — кто знает. Илья открыл дверцу, и я вздрогнул от неожиданности.
— Знакомьтесь,— сказал Илья.— Юру Чернова вам представлять не надо, а это Галя — его жена. Нина Сергеевна — старший научный сотрудник.
Только теперь, продемонстрировав свои права на меня и нашу близость, Галя быстро подняла голову, пробормотала: «Простите»,— и обернулась к Нине. «Ах ты, маленькая, хитрая дрянь»,— подумал я. Вопреки ожиданию я не чувствовал себя несчастным, сидя в одной машине с этими двумя женщинами. Наоборот, мне стало легко и весело. Я был в точке, где притяжения с двух сторон взаимно уравновешивают друг друга, и плавал в невесомости, как У в одном из последних снов.
— Как ехать, Нина Сергеевна? — спросил Илья.
— А вы... уверены? Мы ведь будем у профессора в полдвенадцатого... Так поздно...
— И вы тоже... Ученые, называется! Великие открытия делаются от одиннадцати до часу по четвергам.
Нина засмеялась.
— Наверное, вы правы. Поехали. Ах да, я же не объяснила, куда ехать. Улица Дмитрия Ульянова. Вы знаете, где это, Юрий Михайлович?
Не Юра, а Юрий Михайлович. О женское чутье! О женский такт!
— Знаю,— сказал я.— Я все знаю. Вы хоть позвонили бы профессору.
— Господи,— сказала Нина,— я не сообразила в этой суматохе.
Два автомата оказались неисправными. На углу Красной Пресни автомат работал, но было занято. В результате мы приехали на улицу Дмитрия Ульянова без звонка. Было уже начало двенадцатого.
— Идем все вместе,— строго сказал Илья и быстро погнал нас, как стадо гусей, к подъезду.
Кнопку звонка нажал он. Никто не ответил.
— Не может быть,— пробормотала Нина,— ведь я же сама звонила. Было занято.
За дверью, обитой коричневым дерматином, послышались шаги. Вспыхнул глазок и тут же потемнел, должно быть, в него посмотрели. Дверь открылась. Профессор стоял в пижаме и смотрел на нас. Пижама была выглажена почти так же тщательно, как и костюм, в котором я его видел. Редкие волосы тщательно причесаны. Интересно, промелькнуло у меня в голове, он спит лежа или стоя?

— Простите, Борис Константинович,— нервно сказала Нина.— Уже поздно, я понимаю...

Профессор молча осмотрел нас всех. Настороженность в его глазах постепенно испарялась. А может быть, он просто просыпался.

— Добрый вечер,— сказал он и сделал приглашающий жест рукой.

Мы вошли в комнату, но не сели.

— Борис Константинович, позвольте вам представить,— сказала Нина,— это жена Юрия Михайловича, а это его друг...

Нина замешкалась, и я понял, что она даже не запомнила имени Ильи.

— И чем же я обязан столь неожиданному визиту? — сухо спросил профессор, так и не кивнув и не пригласив нас сесть.

— Только что выяснилось, что точки на графике быстрого сна Юрия Михайловича полностью соответствуют расстоянию планет Солнечной системы от Солнца,— быстро проговорила Нина Сергеевна.

— И кто же это выяснил, позвольте узнать? — спросил профессор.

— Я, с вашего разрешения,— сказал Илья и полупоклонился. Большой, пыльный, помятый, он все равно являл собой зрелище внушительное.

— Где график? — строго спросил профессор.

— Вот.— Илья стащил с себя куртку, швырнул ее, не глядя, на кресло в чехле и вытащил из кармана листок бумаги.— А это расстояния планет от Солнца в астрономических единицах. Вот пропорция, которую я составил. Вот пересчет.

— Линейка у вас есть? — спросил все так же строго профессор.

— Нет.

— Машенька,— произнес, не повышая голоса, профессор, и в комнату тут же влетела крошечная немолодая женщина.

Я готов был поклясться, что она караулила у двери, ожидая, пока ее позовут. Женщина кивнула нам и замерла, глядя на Бориса Константиновича. «Похоже, что она робот»,— подумал я.

— Машенька,— не отрывая взгляда от графика, сказал профессор.— Витя дома?

— Нет,— пробормотала профессорша испуганно.

— Посмотри, пожалуйста, в его комнате, нет ли у него линейки и готовальни. Или хотя бы линейки.

Так же стремительно, как вошла, профессорша выскочила из комнаты. «Старая школа,— подумал я,— теперь таких жен не выпускают».

Профессор сел за стол, не глядя протянул руку, в которую запыхавшаяся профессорша вложила линейку, и принялся измерять расстояния на графике.

Мы молча стояли вокруг стола. Профессорша тихонько отошла к двери — наверное, ее обычное место — и тоже замерла.

— Вы теорию вероятности знаете? — спросил наконец Борис Константинович Илью.

— Нет, я, знаете, по образованию гуманитарий.

— Так вот, вероятность случайного совпадения равна практически нулю.

— Значит...— тихо сказала Нина, и профессор внимательно посмотрел на нее, словно видел в первый раз.

— Значит, мы сейчас будем пить чай,— сказал профессор и вдруг засмеялся.— Я подумал о том, какая будет физиономия у Штакетникова... Машенька!

Профессорша-робот застыла по стойке «смирно».

— Машенька, организуй, пожалуйста, нам чай и посмотри у Вити, есть ли что-нибудь выпить.

Профессор опять неумело прыснул и повернулся к Нине.

— Нет, Нина Сергеевна, вы представляете себе, какая будет физиономия у Штакетникова?

Боже правый и милосердный, подумал я, как люди по-разному реагируют на великие события. Один подбрасывает к потолку чужих жен, другие плачут, а третьи думают о выражении лица Штакетникова. Нет, я ошибся. Профессорша не могла быть роботом. Роботы не могут работать с такой скоростью. За одну минуту стол накрылся скатертью, скатерть — тарелками с сыром, колбасой, вареньем двух сортов, рюмками и едва начатой бутылкой коньяка, не говоря уже о чайнике. Молодец, Витя. Все-то у тебя есть — от линейки до коньяка. Мне бы такого Витю...

— Сядь с нами, Машенька,— сказал профессор и принялся разливать коньяк по рюмкам.

Машенька стремительно бросилась к столу и застыла на краешке стула. Когда профессор выйдет на пенсию, он сможет неплохо зарабатывать. Демонстрация высшей дрессуры супруги.

Профессор поднял рюмку.

— Один мой знакомый американский психолог говорил мне, что самые доверчивые люди на свете — ученые. Никого так нельзя легко одурачить, как ученого. И действительно, сколько ученых мужей попадалось на удочку всяческих шарлатанов. А почему? Потому что ученый привык доверять фактам. И как бы ни были необычны факты, он вынужден принять их. Но если бы ученые не были доверчивы, не было бы науки, ибо все новое всегда кажется абсурдным, как казалась, например, Французской академии абсурдной идея, что с неба могут падать камни. Когда Юрий Михайлович в первый раз пришел ко мне, я не хотел слушать его. То, что он говорил, было фантастично. Но теперь это факты. И я должен им верить. И заставить верить других. Ибо ученый — это еще и миссионер, который должен всегда стремиться обращать людей в свою веру. Выпьем за великие факты, свидетелями которых мы с вами стали, выпьем за веру в науку.

Мы все выпили. Профессорша тоже выпила свой коньяк, не сводя взгляда с мужа. Пила она синхронно с ним.

Потом мы выпили за интеллектуальное бесстрашие и за братьев по разуму. Потом за Контакт.

— Машенька,— сказал профессор,— посмотри у Вити, нет ли у него чего-нибудь еще... эдакого...

Старушку как ветром сдуло и принесло обратно уже с бутылкой рома «Гавана-клуб». Профессорша прижимала бутылку к груди.

— Борис Константинович,— сказал я,— знаете, как я определил про себя ваши глаза, когда первый раз увидел вас?

— Как?

— Я решил, что у вас глаза участкового уполномоченного.

— По-ра-зи-тельно! — крикнул профессор.

— Почему?

— Потому что я в молодости работал в милиции.

Мы выпили за нашу милицию. Илья что-то шептал Гале на ухо, и она мелко тряслась от смеха.

— Дорогой профессор! — сказал я и почувствовал, что профессор вот-вот раздвоится и что надо его предупредить об этом.— Дорогой Борис Константинович! Я хотел вас предупредить...— Я забыл, о чем хотел предупредить профессора, но он уже не слушал меня.

— Машень-ка! — позвал он, и мне показалось, что голос его звучит уже не так, как раньше. А может быть, это я стал плохо слышать.— Машень-ка! Посмотри, нет ли у Вити чего-нибудь... Ром не годится.

Я посмотрел на бутылку «Гавана-клуб». Она была пуста.

Ночь постепенно теряла четкие очертания. Машенька еще дважды ходила к Вите, и Витин дух послал нам бутылку «Экстры» и бутылку «Саперави». Эту бутылку профессорша чуть не уронила, так как споткнулась об Илюшину ногу, и он поймал ее на лету.

Потом пришел какой-то немолодой лысоватый человек, назвавшийся Витей, и я доказывал ему, что Витей он быть не может, потому что Витя — это ребенок, мальчик такой ма-а-аленький, которому негде спать, так как злые родители заставили всю его комнату бутылками.

Лысоватый человек почему-то пожал мне руку и со слезами на глазах признался, что он все-таки профессорский сын и сам профессор.

Я сказал ему, что профессорский сын и профессор — совсем разные вещи, но он пошел в свою комнату, принес оттуда бутылку венгерского джина и какую-то книжечку, которую он все порывался показать мне, уверяя, что из нее я узнаю о его звании.

Потом он танцевал с Ниной, и Нина сбросила туфли, и мне было смешно и грустно одновременно, все были такими милыми, что сердце у меня сжималось от любви к ним всем.

Глава 13

Нина позвонила мне домой и передала просьбу Бориса Константиновича приехать к трем часам в институт. Оказалось, что он идет к директору и хочет, чтобы я был наготове.

— Посидите в приемной с Ниной Сергеевной, может быть, вам придется продемонстрировать еще раз свои способности,— сказал профессор, когда я примчался к нему.

Мы пошли к кабинету директора института. Впереди решительный Борис Константинович, за ним Нина, а потом уже и я.

— Оленька, Валерий Николаевич у себя? — кивнул профессор на дверь, на которой красовалась табличка «В. Н. Ногинцев».— Он назначил мне аудиенцию ровно на три.

Оленька, существо лет восемнадцати с ниспадающими на плечи русыми тяжелыми волосами, подняла глаза от книжки, которая лежала на пишущей машинке, и кивнула.

— Сейчас, Борис Константинович.— Она нажала на какой-то рычажок и сказала: — Валерий Николаевич, к вам Борис Константинович Данилин.

— Попроси его, пожалуйста,— послышался из динамика низкий мужской голос.

Именно такими голосами должны обладать, по моему глубокому убеждению, обитатели больших кабинетов, перед которыми сидят секретарши с длинными русыми волосами.

Борис Константинович коротко кивнул нам и исчез за обитой черным дерматином дверью.

— Здравствуйте, Борис Константинович,— послышалось в динамике.

— Добрый день, Валерий Николаевич,— ответил голос профессора.

Русоволосое существо потянулось к рычажку, и я вдруг неожиданно для самого себя сказал:

— Оленька, дитя мое, а зачем лишать нас маленького удовольствия? Дайте нам послушать, о чем будут говорить ученые мужи.

— Нельзя,— сказала Оленька, но динамик не выключила.

— А такой красивой быть можно? — спросил я и сам покраснел от бесстыжести своей лести.

Оленька прыснула и посмотрела на Нину Сергеевну.

— Да ничего, он свой.— Нина кивнула в мою сторону с видом заговорщика.

— Ладно, только никому ни слова, а то Валерий Николаевич, знаете, что мне сделает...

Я не знал, что он сделает Оленьке, но особенно за нее не волновался. Судя по ее манерам, еще большой вопрос, кто кому больше сделать может — директор Оленьке или Оленька директору.

— Валерий Николаевич, я к вам по не совсем обычному делу,— сказал Борис Константинович, и даже пропущенный через сито динамика голос его звучал напряженно.

— Слушаю вас.

— В нашу лабораторию сна пришел молодой человек, двадцати пяти лет, и попросил, чтобы мы определили, какой характер носят его сновидения.

— И что же снится молодым людям в наши дни? — мягко забулькал директорский бархатный бас.— Неужели не то, что снилось нам?

— Нет, Валерий Николаевич,— твердо, без улыбки в голосе сказал профессор, сразу же уводя разговор в сторону от предложенной директором слегка шуточной тропинки.— Юрию Михайловичу Чернову снится незнакомая планета, которую он называет Янтарной, так как именно этот цвет преобладает там. Юрий Михайлович уверен, что эти сновидения не что иное, как мысленная связь, установленная с ним обитателями этой планеты.

Мне стало зябко, и по спине пробежал озноб. Только сейчас я понял до конца, кем должен выглядеть в глазах нормального человека.

— Гм, гм,— басовито кашлянул директор, и в глухих раскатах его голоса можно было уловить приличествующее случаю сочувствие.— И что же? Нужно ему помочь?

— Да, но речь идет вовсе не о психиатрической клинике. Дело в том, Валерий Николаевич, что идеи Юрия Михайловича не заболевание и не иллюзия.

— То есть? — Голос директора прозвучал чуть строже, словно влажный и мягкий его бас слегка подсушило нетерпение.

Я почувствовал, что изо всех сил сжимаю подлокотники зеленого кресла. Каково же сейчас Борису Константиновичу? Милый, несимпатичный, упрямый и несгибаемый профессор.

— Мы имеем основания считать, Юрий Михайлович не ошибается, что с ним установили связь представители некой внеземной цивилизации.

— Очень мило,— облегченно засмеялся директор.— Я, признаться, не подозревал, уважаемый Борис Константинович, что вы у нас шутник-с...

— Я понимаю вас,— сухо и твердо произнес профессор.— Я полностью отдаю себе отчет в том, какое у вас должно сейчас сложиться мнение обо мне вообще и о моих умственных способностях в частности. Я сам прошел через это, и ваш скептицизм вполне понятен.

— О чем вы говорите, какой скептицизм? — с легчайшим налетом раздражения спросил директор.— Если вы для чего-то решили подшутить надо мной, то при чем тут скептицизм? Помилуйте, уважаемый коллега...

— Валерий Николаевич, я вас не разыгрываю и не шучу с вами. Как вы, возможно, заметили, я вообще не очень склонен шутить. В нашей лаборатории проведены исследования, которые на сто, повторяю, на сто процентов подтверждают вывод, о котором я уже имел честь вам сообщить.



— Да вы что, смеетесь, дорогой Борис Константинович? — В бас директора вплелись негодующие нотки.

— Я не смеюсь. Вы знаете, что за двадцать три года работы в институте я никогда не позволил себе никаких шуточек и никаких розыгрышей. Я повторяю: я не сошел с ума и не шучу. Я прошу вас только выслушать меня.

— Хорошо,— со вздохом сказал директор, и я представил себе, как он откидывается с жертвенным видом в кресле и полузакрывает глаза.

— Мы провели четыре ночных исследования Юрия Михайловича во время сна. Мы получили электроэнцефалограмму, которую дублировали регистрацией БДГ. Вот график быстрого сна испытуемого в первую ночь, во вторую, в третью и четвертую. Обратите внимание, что все периоды быстрого сна начинаются в одно и то же время и продолжаются ровно по пять минут. Вы видели когда-нибудь такую ЭЭГ?

— Довольно странная картина, согласен, но...

— Мы обратили внимание на то, что Юрий Михайлович в отличие от нормы прекрасно помнит все сновидения, во всех деталях и что сновидения последовательно знакомят его с жизнью Янтарной планеты.

— Борис Константинович!

— Прошу прощения, Валерий Николаевич, я еще не кончил...

— Я вовсе не настаиваю, чтобы вы продолжали этот странный разговор...

— Товарищ директор, я заведующий лабораторией. Я пришел к своему директору. Я, наконец, ученый и пришел к коллеге. Выслушайте же меня спокойно...

— Хорошо, Борис Константинович, если вы настаиваете, я, разумеется, выслушаю вас до конца. Но поймите...

— Поймите вы, что я никогда не пришел бы к вам, если не был бы уверен в том, что говорю. Вы думаете, я не представляю, что у вас должно сейчас вертеться в голове? Старый идиот, выжил из ума, этого еще не хватало и так далее...

— Борис Константинович, я, по-моему, не давал вам...

— Я вас ни в чем не обвиняю. Я лишь прошу, чтобы вы спокойно и беспристрастно посмотрели на графики, лежащие перед вами. Как вы видите, интервалы между короткими периодами быстрого сна все возрастают слева направо, от первого периода до десятого. В двух случаях между пятым и шестым циклами появляется еще один дополнительный период. Так вот, пропорция интервалов в точности соответствует пропорциям расстояний от Солнца до девяти планет. Дополнительная же точка между Марсом и Юпитером, которая то появляется, то исчезает, является, по-видимому, космическим кораблем, посланным этой Янтарной планетой. Я обратился к двум математикам с вопросом, какова вероятность случайного совпадения десяти цифр. Такая вероятность исчезающе мала...

Пауза, которая последовала за последними словами Бориса Константиновича, все росла и росла, наконец директор спросил со вздохом:

— Вы хотите уверить меня, что речь идет о телепатической связи между некоей внеземной цивилизацией и вашим испытуемым. Так?

— Так.

— И вы рассчитывали, что убедите меня в реальности такой связи?

— Рассчитывал,— твердо сказал Борис Константинович.

— Но вы же прекрасно знаете, что телепатия — это миф, фикция, выдумки шарлатанов. Для чего возвращаться к этим мифам?

— Это не миф. Перед вами на столе лежит реальность в виде графиков, составленных на основании абсолютно корректных опытов. Опыт повторен четыре раза. Возможность ошибки исключена.

— Вы читали работы, где исследуется вопрос, какова должна быть мощность мозга, чтобы он излучал сигналы, способные достигать мозга реципиента? Нет ни одной известной нам формы энергии, при помощи которой можно было бы передавать телепатическую информацию. На нашем с вами уровне обсуждать вопрос о телепатии — просто несерьезно. Если бы мы с вами были двумя дикарями, тогда, может быть, мы бы могли говорить о подобной чепухе... Не буду скрывать от вас, Борис Константинович, электроэнцефалограмма действительно весьма занятная, спору нет. Но что касается всего остального... Я даже не могу подобрать слов...

— Валерий Николаевич, в вашей приемной сидит наш испытуемый. Я не хотел говорить раньше об этом, но он может продемонстрировать вам те самые телепатические способности, которые, как мы с вами знаем, не существуют.

Оленька с любопытством посмотрела на меня, чуть склонив голову набок, как собачонка, и тяжелые ее русые волосы тоже опрокинулись набок.

— Борис Константинович, вы взрослый человек, и не мне вас воспитывать. Если вы решили пропагандировать телепатию,— это ваше частное дело. Но как сотрудника нашего института, как заведующего лабораторией нашего института я бы попросил вас воздержаться от столь странного хобби. Тем более, что это вовсе не ваша специальность. Вы можете выставлять себя на посмешище, ежели того желаете, но скреплять печатью научного учреждения ваши фантазии — нет, извольте уж, коллега, простить старика. Своим именем и именем института я как-то, знаете, не привык покрывать разного рода... шарлатанство.

— Валерий Николаевич, вы обвиняете меня в шарлатанстве?

— Вы сами себя обвиняете. Спасибо, что избавили меня от столь неприятной миссии.

— Прекрасно, товарищ директор. Допустим, я старый шарлатан. Прекрасно. Благодарю вас. Но вы директор института. Вы ученый. Вы член-корреспондент Академии наук. В пяти метрах от вас человек. Позовите его. Проверьте его. Поймайте нас на шарлатанстве. Неужели вы думаете, я не понимаю вас? Когда Юрий Михайлович впервые пришел ко мне, я тоже ничего не хотел слушать. Я говорил ему о проектах вечного двигателя, которые ни один грамотный человек не будет рассматривать. И все же он убедил меня, потому что знания не должны быть шорами на глазах.

— Не уговаривайте меня, я никогда ни за что не соглашусь участвовать в шарлатанских трюках.

— Но какая же у нас корысть...

— Дело не в корысти. Вы можете быть даже искренне уверены вместе с вашим подопечным в своей честности...

— Благодарю вас, Валерий Николаевич. Это уже большая похвала...

— Оставьте, Борис Константинович. Закончим этот тягостный разговор и давайте забудем, что мы его вели. Мы знакомы лет тридцать, наверное, и я никогда не давал вам повода сомневаться в моем добром к вам отношении.— В директорском басе снова появились очаровывающе бархатные нотки.

Надо было спасать бесстрашного Бориса Констан-

тиновича. Я встал, и Оленька испуганно взглянула на меня.

— Куда вы? — пискнула она.— Нельзя!

Но я уже входил в директорский кабинет.

Директор оказался точно таким, каким я его себе представлял — крупным, седым красавцем, стареющим львом.

— Простите, я занят,— коротко бросил он, удостоив меня одной десятой взгляда.

— Я знаю, Валерий Николаевич, что вы заняты. Я как раз тот человек, из-за которого весь сыр-бор.

Директор откинулся в кресле и внимательно посмотрел на меня. Он был так велик, благообразно красив и респектабелен, что я почувствовал себя маленькой мышкой, которая пришла на прием к коту. Борис Константинович молча хмурил брови. Вид у него был встрепанный и сердитый. И вдруг мне так остро захотелось взорвать неприступную директорскую броню, что у меня зачесалось в голове. И вместе с зудом пришел шорох слов, сухой шорох струящихся мыслей. И мысли директора были такие же солидные и респектабельные, как он сам. Такие же корректные и чисто вымытые. Немолодые, но хорошо сохранившиеся мысли.

«Нелепая история... наваждение... Позвать Оленьку...»

— Вы уверены, что это нелепая история,— сказал я,— вы уверены, что это наваждение. Вы даже хотите позвать вашу прелестную девочку, чтобы она выставила меня вон...

«Чушь какая-то... Цирковой трюк...»

— Теперь вы утверждаете, что это чушь какая-то, цирковой трюк.

Краем глаза я заметил, что суровое, взволнованное лицо Бориса Константиновича тронула едва заметная улыбка, и он неумело подмигнул мне.

— Че-пу-ха! — вдруг выкрикнул Валерий Николаевич, и голос его неожиданно стал выше и пронзительнее.— Жё де сосьете!

— Уверяю вас, это не салонные игры, как вы говорите. Настолько французский я знаю. Я просто слышу, что вы думаете.

«А может быть, проверить? Ловко он это делает»,— пронеслось в голове у директора.

— Конечно, проверьте.

— Что проверить? — вскричал директор.

Его невозмутимая респектабельность исчезала прямо на глазах. Он становился старше и суетливее. Он уже больше не был львом.

— Проверьте, как ловко я это делаю.

— Не смейте! — уже совсем тонким голосом взвизгнул директор.

Прошелестела дверь. Я обернулся. В дверях стояли Оленька и Нина Сергеевна. Я подмигнул им. Я уже не нервничал и не боялся. Веселая, озорная волна подхватила меня. Опьяняющая, радостная невесомость, в которую погружал меня У.

— Что не сметь?

— Не смейте читать мои мысли!

— Да позвольте же, Валерий Николаевич, разве читать чужие мысли возможно? Вы уже полчаса утверждаете обратное. Или вы теперь согласны с тем, что я слышу чужие мысли?

— Я ни с чем не согласен,— уже несколько спокойнее отчеканил директор. Должно быть, Оленька вливала в него силы.— Это элементарный трюк. Цирк. Вы видите мое лицо, вы знаете, о чем идет речь, вам вовсе не трудно догадаться, что я думаю. Я этого, тем более, не скрываю.

Последняя мысль, по-видимому, несколько поддержала директора, потому что он начал снова увеличиваться в размерах, опять заполняя собой вращающееся немецкое креслице.

— Вот именно,— сказал я и почувствовал, что держу аудиторию в своих руках, что рядом со мной Нина, что ее большие серые глаза смотрят на меня с восторгом и ужасом, что, наконец, на меня смотрит длинноволосая Оленька, которая, наверное, и не представляла, что с ее всемогущим шефом можно так разговаривать.

— Вот именно,— повторил я.— Что же может быть проще? Я сейчас выйду из комнаты, вы напишете на листке бумаги какие-нибудь две-три фразы, вложите листок в конверт. Я вернусь в комнату и назову эти фразы. Или не назову их. И все станет ясным.

Все замолчали. И вдруг раздался Оленькин голосок:

— Ой, Валерий Николаевич, сделайте, правда, так!..

Спасибо, Оля.

Директор института пожал плечами.

— Только для того, чтобы покончить с этой нелепой сценой.

Я вышел в приемную, уселся в кресло, в котором уже сидел. Зеленая искусственная кожа на правом подлокотнике лопнула, и сквозь трещинку видна была какая-то набивка. На пишущей Оленькиной машинке все так же лежала открытая книга. Я встал и посмотрел на нее. Биология. Не поступила, наверное, готовится снова.

Я сосредоточился. Надо было отсеять ненужные слова, принадлежавшие Борису Константиновичу, Нине и Оленьке. Убей меня бог, если я мог объяснить, как это делаю.

Я услышал сухой шорох директорских мыслей: «Что бы такое написать? Чтобы покончить с этой комедией... Кто бы мог подумать, что Данилин способен на такое... Не будем отвлекаться... Такое, чтобы он не мог догадаться по ситуации... Такое, что не имеет отношения к этой сцене... Ну-с, например, что-нибудь вроде этого... Наш институт... Нет, это глупо. Нельзя даже упоминать институт в связи с этим шарлатанством... Однако надо что-то написать... Это становится смешно... Они смотрят на меня... Какие-нибудь стихи, может быть? Прекрасно. Что-нибудь школьное, что Оленька знает... «Ты жива еще, моя старушка?» А почему бы и нет? Пишем. «Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет! Пусть струится над твоей избушкой...» Какой там свет? Какой-то там свет. Бог с ним. Достаточно».

Пора. Я медленно вошел в директорский кабинет. Все головы повернулись ко мне. Первый раз в жизни я почувствовал себя артистом. Я закрыл глаза и приложил руку ко лбу. Нельзя же разочаровывать девушку с такими необыкновенными волосами.

— «Ты жива еще, моя старушка?» — начал декламировать я чужим, деревянным голосом.— «Жив и я, привет тебе, привет! Пусть струится над твоей избушкой...» Строка не окончена. Не Есениным, а Валерием Николаевичем.— Я подошел к столу.— Можно конверт?

Директор автоматически взял конверт и протянул его мне. На мгновение мне стало даже жалко его.

— Ольга! — театральным голосом сказал я и протянул конверт Оленьке.— Прошу вскрыть и прочесть вслух.

Словно завороженная, не спуская с меня широко раскрытых глаз, Оленька протянула руки, медленно взяла конверт, открыла его, достала листок, бросила на него быстрый взгляд и громко и явственно сказала:

— Ой!

— Что «ой», дитя мое? — спросил я, самым тще-

славным образом упиваясь и Оленькиным «оем», и едва сдерживаемым торжеством милого Бориса Константиновича, и слабой улыбкой Нины.

— «Ты... жива... еще... моя... старушка»,— с трудом, запинаясь, начала Оленька.

— Смелее, дитя, это же не экзамен.

— Хватит! — крикнул директор.— Я даже не спрашиваю, как вы это делаете. Телепатии не существует...

— Вообще-то, наверное, да, но в этом случае...— начал было Борис Константинович.

— Никаких «наверное», никаких этих и тех случаев. Передача мыслей на расстоянии невозможна...

— Но должно же существовать какое-нибудь разумное объяснение тому, что сейчас наблюдали четыре человека? — спросил Борис Константинович.— Или оно не обязательно?

— Для меня не обязательно! — крикнул директор.— Я не цирковой режиссер, с вашего разрешения. Эффектный трюк, не спорю.

— Значит, вы не изменили своей точки зрения? — спросил Борис Константинович.

— Нет, и не изменю, пока я в здравом уме.

— Благодарю вас за любезность, товарищ директор. Хочу вас предупредить, что вынужден буду обратиться выше...

— Можете обращаться к кому угодно, уважаемый Борис Константинович, но меня от ваших бредней извольте уволить-с!

— С удовольствием! Когда ребенок капризничает, его лучше всего оставить в покое.

Директор сделал глубокий вдох и медленно, со свистом выпустил воздух. Руки его изо всех сил сжимали подлокотники креслица, словно он собирался сделать стойку. Борис Константинович пошел к выходу. Мы — за ним.

Армия отступала, сохраняя боевые порядки.

Глава 14

Уверовавший во что-то скептик — человек, которого остановить нельзя. Борис Константинович бросился на штурм вышестоящих научных инстанций с такой яростью, что стены здравого смысла не выдержали и рухнули. Была создана специальная комиссия, в которую вошли ученые разных специальностей. Комиссия должна была изучить феномен под названием «Юрий Михайлович Чернов».

Жизнь моя окончательно вышла из привычных берегов. Меня подхватили, понесли, закружили какие-то грозно-озорные водовороты. В веселой и странной круговерти мелькали школа, Галя, Нина, Илья. Днем я отвечал на бесконечные вопросы членов комиссии, наговаривал на магнитную пленку содержание своих сновидений, а по ночам спал в лабораториях, опутанный датчиками и проводами.

В комиссию входил астроном Арам Суренович Вартанян, который был уверен, что главную ценность для науки представляют не мои сны, а информация, передаваемая с Янтарной планеты с помощью чередования периодов быстрого сна и интервалов между ними.

Высокий, смуглый и слегка кокетливый, он все время повторял:

— Меня не интересуют ваши сны, Юра. Это все разные там четьи-минеи и прочие толкователи вещих сновидений. Это не наука. Очень мило, очень романтично, очень красиво, но не нужно. Наука начинается с графика. Когда мне показали первые графики вашего сна, я понял: это то. То, чего ждешь всю жизнь, если ты ученый, а не ученый-канцелярист.

Тишайший и нежнейший Сенечка, биофизик лет тридцати, похожий на Иисуса Христа, если не считать земских очков в тонкой металлической оправе, окружал меня по ночам различными экранами, а однажды устроил мою постель в металлической трубе, которую использовали в каком-то институте для насыщения тканей больных кислородом.

Два психолога ежедневно терзали меня своими вопросами и тестами, пока я не догадался стравить их друг с другом, и они начали спор, который продолжался уже вторую неделю.

Примерно через день появлялся председатель комиссии академик Петелин. Академик был маленьким, седеньким человечком, в котором постоянно бурлила чудовищная энергия. По-моему, никакой проблемы получения термоядерной энергии не существует — существует проблема академика Петелина. Достаточно узнать, как в таком малом теле генерируется такое фантастическое количество энергии, как энергетическая проблема человечества была бы решена раз и навсегда.

Как только мы слышали за дверью стук палки Павла Дмитриевича, мы непроизвольно улыбались. Павел Дмитриевич влетал в дверь и начинал кружиться по комнате. Казалось, он с трудом удерживается, чтобы не взлететь к потолку. Кружась, он успевал все осмотреть, все спросить, все выслушать, все понять, все запомнить и все решить.

У меня своя теория, почему Павел Дмитриевич сразу поверил в меня, принял результаты первых опытов Бориса Константиновича и согласился стать председателем специальной комиссии. У меня есть серьезные основания подозревать, что старый волшебник тоже мыслит не совсем обычным образом. Сколько раз он смотрел мне в глаза и говорил, о чем я думаю. Не с такой точностью, конечно, как я, но попадание в цель бывало неизменным. Когда я спрашивал его об этом, он заливался мелким, бесовским смешком и подмигивал мне.

— Люди,— говорил он,— в сущности, довольно однообразные объекты, куда однообразнее, чем объекты, скажем, астрономические. А я весьма старый хрыч и неплохо изучил их. Вот вы сейчас, похоже, думаете, что старый хрыч кокетничает...

— Павел Дмитриевич, как вы можете?..

— Ага, попал! Один ноль в пользу академии.— Павел Дмитриевич хитро щурился и спрашивал: — Хотите, я открою вам секрет, как я сделал научную карьеру?

— Хочу, Павел Дмитриевич.

— Прежде всего я по натуре страшный лентяй и бездельник. Да-да, Юрий Михайлович, я не шучу. Но сколько я себя помню — я всегда был человеком энергичным. Энергия, помноженная на лень, дает, как правило, незаурядные результаты. Кроме того, я легко классифицируюсь. Чудак профессор, сумасброд. Это же тип. Клише. Стандарт. А в наш унифицированный век что может быть лучше и приятнее, чем человеческое клише? Не надо думать, кто он и что он, чем дышит и что носит за пазухой. Это как поздравительная телеграмма. Номер три — розочки. Номер семь — голубки на карнизе. Номер десять — чудак профессор. И все рады. Ага, Петелин? Да это же номер десять.

— Павел Дмитриевич, вы меня разыгрываете.

— Конечно, разыгрываю, неужели я буду говорить с вами серьезно? Серьезно я говорю только со своими врагами.

— А у вас есть враги?

— Ученый, у которого нет врагов, не имеет права называться ученым.

— И много их у вас?

— Много, ох, как много! Но знаете, что меня спасает?

— Что?

— Их количество. Враги опасны лишь в небольшом количестве. Когда их становится очень много, они обязательно начинают враждовать друг с другом. А враги твоих врагов — это уже почти друзья.— Академик лихо подмигнул мне и добавил: — А потом вот эта палка! Ну его, думают, мои враги, к черту, еще врежет, старый дурак!

Академик снова раскатывал горох озорного смешка.

И семейная моя жизнь тоже стала какой-то зыбкой и неопределенной. Галя была той же и одновременно другой. То ли это объяснялось недавними нашими размолвками, то ли она никак не могла привыкнуть к мысли, что живет под одной крышей с космическим телепатом — не знаю. Внешне отношения наши были вполне нормальными, но у меня все время было ощущение, что мы идем по тонкому льду. То ли выдержит, то ли треснет. А когда подсознательно ждешь все время зловещий хруст, ты, естественно, напряжен. А напряженное состояние никак не способствует благополучному плаванию семейного корабля.

И с Ниной я продолжал видеться регулярно, так как она и Борис Константинович тоже входили в комиссию академика Петелина. По какому-то молчаливому соглашению мы избегали разговоров на личные темы, но порой мне казалось, что это только этап в наших отношениях, железнодорожный перегон, на котором поезд идет без остановок. Остановки будут, они впереди.

Нина была такой же красивой, как и раньше, а может быть, даже стала еще красивей, и своим обостренным чутьем я начал замечать пылкие взгляды элегантного Арама Суреновича в ее сторону.

В школе, разумеется, ничего не знали о моих делах. Академик Петелин в первый же день, когда собралась комиссия, сказал, что во избежание ненужной шумихи, сенсаций, кривотолков принято решение пока сохранять работу в тайне, и попросил нас соблюдать ее.

Но поскольку мне почти каждый день нужно было куда-то бежать, я то и дело вынужден был переносить свои уроки, отменять классные собрания и избегать наиболее энергичных родителей.

В один из дней наша директриса Вера Викторовна призвала меня к себе в кабинет.

— Садитесь, Юрий Михайлович,— кивнула она мне и принялась перекладывать бумаги на столе с места на место.

Я сел и вопросительно посмотрел на нее.

— Юрий Михайлович, нам предстоит не совсем приятный разговор. Вы догадываетесь о чем?

Я вздохнул шумно и виновато.

— Конечно, Вера Викторовна. И не только догадываюсь, я полностью разделяю мысли и чувства, которые владеют вами.

Суровое лицо директрисы, которого никогда не касалась никакая косметика, начало медленно багроветь, и я подумал, что цвет этот очень идет к ее седеющим волосам, туго стянутым в аскетический наробразовский узел.

— И вы еще позволяете себе...— начала было она, но я ее прервал:

— Я ничего не хочу позволять себе. Я вас прекрасно понимаю и вполне согласен с вами, что Чернов в последнее время очень изменился, причем в худшую сторону.

Вера Викторовна достала из кармана носовой платок и трубно высморкалась. Звук был чистым и сильным. У нее не было никакого насморка, ей просто хотелось выиграть время.

— И что же, вы с этим согласны? — Платок она не убрала, держала в руке наготове, чтобы в случае необходимости снова выиграть время.

— Я уже сказал вам, что полностью разделяю ваши мысли и чувства. У меня сейчас просто в жизни трудный период...— Я на мгновение остановился, чтобы выбрать между несуществующей аспирантурой и несуществующими болезнями, и выбрал аспирантуру.— Я поступаю в аспирантуру...

— В очную?

— Нет, в заочную. Вы представляете, какие это хлопоты, особенно для учителя...

Тонкие губы Веры Викторовны были по-прежнему неодобрительно поджаты.

— Уверяю вас, мне самому неприятно, что я вынужден так манкировать своими обязанностями. В ближайшее время я надеюсь освободиться...

— Хорошо. Я подожду. Но, надеюсь, вы понимаете, что долго так продолжаться не может...

Это случилось на перемене между первым и вторым уроками. Я сидел на своем обычном шатком стуле между шкафом с математическими наглядными пособиями, ключ от которого был потерян еще предыдущим поколением учителей, и весьма развинченным невысоким скелетом, каждый год терявшим по нескольку костей. На шкафу, как раз на уровне моих глаз, был прибит овальный инвентарный номерок. Семнадцать и тридцать один. Я курил, сосредоточенно смотрел на номер и думал, что более нелепых цифр не придумаешь. Ни на что их не разделишь, а перемножить их в уме я безуспешно пытался уже несколько лет.

И вдруг что-то произошло в моей голове. Я услышал звук включенного, но не настроенного на станцию приемника. Звук тишины, которая вот-вот должна прорваться звуком. Но звука не было. Вместо него в этой гулкой тишине моей черепной коробки начала копошиться какая-то мысль. Даже не мысль, а мыслишка. Нечто крошечное, неясное, но беспокойное. Она все ворочалась, крутилась, не находя себе места, постепенно росла и крепла. Но к сознанию еще не всплывала. Быть может, не обладай я опытом Янтарной планеты, я бы не обратил внимания на свое состояние. Мало ли что у кого зреет в голове — от теории относительности до решения написать анонимку. Но я прислушивался к себе, как больной, ловящий малейшие симптомы. И мысль, наконец, оторвалась от дна подсознания и начала медленно подниматься к поверхности. И превратилась уже в нечто, что я знал и ощущал.

А знал я, что на Земле есть еще кто-то, кто обладает такими же способностями, что и я, и кто связан той же нитью с Янтарной планетой, что и я. Не спрашивайте меня, как я это знал. Я не могу ответить на этот вопрос. Я знал. Я был уверен.

И знание это было приятно. Только в этот момент я осознал до конца, каким одиноким я был до сих пор. Один. Один среди миллиардов, выбранный У. Да, меня окружали люди, которые не отвернулись, поддержали, поверив в невероятное, но они полагались только на мои слова. А слова не могли передать ни гармонии плавных янтарных холмов, которую слышишь, паря над ними, ни полного растворения в братьях в Кольце Зова, ни гимна Завер-

шения Узора, ни самого цвета Янтарной планеты. Слова были слишком грубым инструментом, не рассчитанным на незнакомый мир. И я был в плену Янтарной планеты, отгороженный от людей стеной пустых слов, которые я пробовал и отбрасывал, убедившись в их слабости, тусклости, сухости.

И вот теперь где-то на Земле объявилась живая душа, и мне не нужно будет слов, чтобы разделить с ней счастье знакомства с народом У. Мне стало так хорошо, так радостно, что я тут же впервые в жизни перемножил в уме семнадцать и тридцать один — волшебные цифры с таинственного инвентарного номерка. Пятьсот двадцать семь — какое прекрасное число!

В кресле сидел математик Семен Александрович. Почему всегда в какие-то очень важные для себя минуты взгляд мой обращается на нашего математика? Милый Семен Александрович, отнимите классный журнал от груди, и тогда с вами тоже случится что-нибудь удивительное. Может быть, вам пронзит сердце стрела Амура, прикинувшегося нашим школьным скелетом, без половины костей? Амур попадет в вас, и вы влюбитесь в нашу директрису Веру Викторовну. А она в вас. И вместо педагогического сурового пучка на голове сделает себе необыкновенную прическу. А вы придете в пестрой модной рубашке с широким галстуком.

Нет, это, к сожалению, была маловероятная картина. Не из-за Амура, нет. Амур — это просто. Но вот пучок Веры Викторовны — тут и трех Амуров было бы мало.

И все-таки мне нестерпимо хотелось приобщить Семена Александровича к счастью. Я подошел к нему.

— Семен Александрович,— спросил я его, чувствуя себя посланцем судьбы,— хотите я открою вам шкаф с вашими усеченными пирамидами?

Математик ушел в глубь кресла и выход из него забаррикадировал классным журналом с чернильной кляксой в правом верхнем углу.

— Э... ключа у нас нет...

— Может быть, закажем новый?

Семен Александрович посмотрел на меня с испугом, будто я предложил ему взорвать школу и ограбить кассу взаимопомощи.

Я подошел к шкафу. Синяя цветная бумага за стеклянными дверцами давно выгорела. Я взялся за ручку и несильно дернул. С печальным скрипом, с которым рушатся легенды, дверца открылась.

— Вот, Семен Александрович,— гордо и великодушно сказал я,— вам подарок. От нас двоих.

Прозвенел звонок, но Семен Александрович не шел на урок. Мелкими шажками он бочком, покрабьи подходил к шкафу и вдруг коршуном бросился к нему. С блуждающей улыбкой он выхватывал из его пыльных глубин пирамиды и кубы, прямоугольники и параллелепипеды и дрожащей рукой стирал с них густую школьную пыль.

Девятый «А» я не слишком люблю. Брезгливые снобы, делающие мне одолжение уже своим присутствием. Но сегодня и они показались мне милыми.

— Сегодня объявляется однодневный мораторий на двойки в честь выдающегося события, только что происшедшего в нашей школе,— голосом Левитана сказал я.

— Какого? — заверещали девицы девятого «А», славящиеся своим сорочьим любопытством.

— Был открыт шкаф с математическими пособиями.

Девицы разочарованно хмыкнули. Конечно, они бы предпочли объявление о помолвке Веры Викторовны и Семена Александровича, но, увы, этого я им предложить не мог.

Из школы я пошел домой пешком. Потеплело. Снег весь растаял, шел мельчайший дождь. Даже не дождь, а водяная пыль. И никуда она не шла, а висела в воздухе. Две малышки, пританцовывая, промчались мимо меня. С портфельчиками на спине, с косичками, висящими из-под шапочек. А почему бы и мне не пойти пританцовывающим шагом?

Я зашел в булочную, купил наш дневной хлебный рацион, захватил из овощного магазина пакет картофеля и дома принялся разогревать себе обед.

И вдруг снова гулкая тишина в голове. Ожидание, что я не один. И что тот второй знает, что есть я. Неважно, знает ли он, кто я и где я, но он знает, что я есть. Я в этом уверен так же, как и в том, что тот второй знает о Янтарной планете. Уверен, знаю.

Я посмотрел на часы. Уже четыре. В пять часов на комиссию должен прийти Павел Дмитриевич.

Я не стал мыть посуду и помчался в институт, где нам было выделено две комнатки.

— Павел Дмитриевич,— сказал я, когда он влетел в дверь ровно в пять ноль-ноль,— произошло еще одно событие.

Все повернулись ко мне, а председатель комиссии вкусно облизнулся, словно предвкушая что-то интересное.

— Что же, Юрий Михайлович?

— Сегодня я узнал, что на Земле есть еще один человек, который, как и я, принимает сигналы с Янтарной планеты.

— Где он? — Павел Дмитриевич сделал видимое усилие, чтобы не взлететь со стула вверх.

— Не знаю.

— Откуда же вам известно о его существовании?

— Я получил сигнал. Я просто понял, узнал, что такой человек есть. Если вас интересует, я могу даже точно назвать вам время. Так... Это произошло на перемене между первым и вторым уроком, значит, было это примерно в девять двадцать, девять двадцать пять.

— Какого рода сигнал? — спросил Арам Суренович и почему-то взглянул на Нину, сидевшую у окна.

— Не могу сказать вам точно. Такое ощущение... будто включили приемник, а на станцию не настроили. Тишина, которая таит в себе звук, так, что ли. Гулкая тишина. И какая-то копошащаяся мыслишка. Неясная, и сразу знание. Уверенность.

— Четкая? — застенчиво спросил биофизик Сенечка.

— Что четкая? Уверенность? Абсолютно. Как таблица умножения.

— А что, кто, где? — спросил Павел Дмитриевич.

— Ничего не знаю. Знаю только, что такой человек существует, что он знает обо мне. И все.

— Ах, как было бы хорошо найти его! — вздохнул председатель комиссии.— Представляете, что бы это значило? Если и этот человек получает информацию в форме сновидений и если эта информация совпадает с той, которую получает Юрий Михайлович, это значит, что отпадают последние сомнения в существовании такой информации.

— Мы бы посмотрели тогда, как запищали бы скептики вроде Ногинцева! — мечтательно сказал Борис Константинович.

— Ногинцев пищать не может, — сказал Павел Дмитриевич.— У него бас.

— Пускай пищит басом,— предложил Арам Суренович и победно посмотрел на Нину.

— Мы смогли бы опубликовать свои работы,— стыдливо пробормотал биофизик Сенечка и, чтобы не видеть собственного смущения, снял свои земские очки в металлической оправе.

Почему я мысленно называл его очки земскими, объяснить не могу. Земская управа, земский врач, врач Чехов. Не знаю.

— Пока об этом не может быть и речи,— отрубил Павел Дмитриевич и поставил точку, стукнув палкой об пол. Точка получилась мягкая, наконечник на палке был резиновый.— Не может быть и речи! Это было одним из условий при организации комиссии, и я с ним полностью согласен. Вы представляете, какой шум начался бы? Нашего Юру разорвали бы на кусочки. А он нам пока нужен целиком... Послушайте, а то, что есть человек, знающий о Янтарной планете, и что этот человек знает о вашем существовании, вам стало известно сразу?

— Нет. Сначала я узнал о его существовании, а потом, уже около четырех часов, когда я собирался выйти из дому, я получил второй сигнал.

— Характер тот же, что и утром?

— Вы имеете в виду субъективные ощущения? Да. Такие же, как и утром.

— Будем надеяться, что Юра сможет уточнить информацию. Это было бы просто замечательно...

— Ногинцев...— начал было Борис Константинович, но Петелин оборвал его:

— Что-то я не пойму, друзья мои, чем мы здесь заняты. Выяснением, не осуществился ли первый контакт с внеземной цивилизацией или утиранием носа уважаемому Валерию Николаевичу Ногинцеву?

— Одно не исключает другого, Павел Дмитриевич,— сказал Арам Суренович.

— Вы правы, дорогой мой,— улыбнулся председатель комиссии.— Если в малом великое найти нелегко, в великом малое, как правило, можно обнаружить без особого труда. Так, Борис Константинович? Карфаген должен быть разрушен. Ногинцеву должен быть утерт нос?

— Должен! — с яростной уверенностью мстителя кивнул Борис Константинович.

— Ого, темперамент, однако, у вас! Не хотел бы я быть на месте вашего директора института и иметь такого сотрудника, как вы... Друзья мои, мне кажется, что сегодня Юрия Михайловича нужно отпустить с миром. Может быть, в спокойной обстановке он быстрее получит какую-нибудь дополнительную информацию о своем коллеге... Ах, как было бы хорошо найти его! Вы только подумайте, что бы это дало нам! Прямо дух захватывает, а у меня, у старого хрыча, дух захватить нелегко, поверьте мне... Юрий Михайлович, если что-нибудь прояснится, звоните мне тут же, в любое время суток.

Глава 15

Почти две недели я ничего нового рассказать Павлу Дмитриевичу не мог. В один прекрасный вечер в начале декабря Вася Жигалин зазвал нас поиграть в преферанс. Должен был прийти и Илья Плошкин.

На столе уже лежал расчерченный листок с магическими цифрами в центре: пулька до пятидесяти, по одной копейке. Галю услали смотреть по телевизору встречу по водному поло, а мы уселись за круглый стол.

— Мужики,— вдруг сказала жена Васи,— а ведь Юрочка обдерет нас как липку.

— Это почему ж? — спросил Илья.

— Да потому, что он читает наши мысли и знает наши карты.

— Спасибо, мать,— растроганно сказал Вася,— а у меня и из головы выскочило.

— Точно,— кивнул Илья.— Разденет. Он такой. Олигофрены, они хитрые!

— Как хотите,— сказал я.— Я совсем забыл. Вы же знаете, я начинаю читать мысли, только когда сосредоточусь.

— Ну, конечно. А я вот прошлый раз сосредоточилась, и мне впаяли четыре взятки на мизере.

— Ты, мать, лучше не сосредотачивайся,— ласково сказал Вася,— это к добру не приводит.

Валентина густо кашлянула, повела могучими плечами, и Вася сразу сжался и затих.

— Ладно,— сказал я,— не хотите — не надо. Буду нести свой тяжкий крест. Играйте, выигрывайте, проигрывайте свои имения, погружайтесь в пучину разврата, а мы с Галей поехали домой.

— Нет, вы с Галей не поедете домой. Галя будет смотреть, как топят друг друга «Спартак» и «Динамо», а ты спокойненько, не спеша приготовишь ужин.

— А полы натереть не нужно? — деловито спросил я.— Или отциклевать? Я из тимуровской команды...

И в этот момент я услышал уже знакомую мне гулкую, набухшую еще не родившимися звуками тишину. Я замер и закрыл глаза.

— Юрка,— услышал я голос Ильи,— тебе плохо?

Скрипнул отодвигаемый стул. Я махнул рукой.

— Не обращайте на меня внимания. Все в порядке. Просто устал.

— Честно? — басом спросила Валентина.

— Честно, Валюша, не беспокойся.

Я снова закрыл глаза. Тишина все нарастала и нарастала. Она гудела во мне, заполняла меня всего, но никак не могла вылиться в слово, в образ, в мысль, в знание.

И вдруг в голове у меня зажглась фраза.

Коротенькая английская фраза: «Спасибо, мисс Каррадос». И гулкая тишина в моей голове исчезла, погасла, словно приемник выключили.

Мисс Каррадос. Что такое мисс Каррадос? Кто такая мисс Каррадос? Связана ли она как-то с моим двойником, к которому, как и ко мне, протянулась с Янтарной планеты тонкая ниточка сновидений?

Тишина и ощущение ожидания были теми же, что и тогда в школе, когда я сидел между шкафом и скелетом. Но на этот раз я прочел фразу. Именно прочел. А может быть, все это мне только почудилось?

Ночью впервые за долгое время я видел вполне земной сон. Мне снился какой-то заграничный город. Я хотел догадаться, что это за город, но почему-то не мог никого спросить.

Я шел по небольшой улочке и слышал английскую речь, но понять, о чем говорят, не мог. И не потому, что не понимал слова и фразы, а потому, что они сливались. И я все старался расслышать, что же все-таки говорят прохожие, и не мог. Я напрягался, вытягивал шею — и не мог разобрать ничего.

Улочка, по которой я шел, была застроена одно- и двухэтажными домиками. На одном из более крупных зданий была вывеска. Я знал, что мне ее обязательно нужно рассмотреть, но почему-то не мог подойти поближе. На вывеске, небольшой медной табличке, как будто было слово «банк». Да, четыре буквы. «Банк». Очень похоже на «банк». А

вот какой банк... Я даже мог пересчитать буквы. Их было семь, и первая... Первая была очень похожа на букву «к» в слове «Банк».

И больше я ничего не мог понять. Я проснулся с ощущением, что не сумел сделать того, что должен был. Я лежал в темноте, и незнакомая улочка, которую я только что видел, снова проплывала у меня перед глазами. Нет, это был не простой сон. Яркость картины, насыщенность деталями были такими же, как и янтарные сны. Но это была Земля. Люди говорили по-английски, я был в этом абсолютно уверен. Эх, если бы я мог прочитать название банка...

Павел Дмитриевич пришел в неописуемое волнение, когда я позвонил ему утром. Голос его дрожал от возбуждения.

— Приезжайте к десяти,— сказал он.

— Павел Дмитриевич,— взмолился я,— меня выгонят из школы. Меня уже вызывала директриса.

— Я возьму вас в свой институт. Старшим лаборантом.

— Спасибо, Павел Дмитриевич. Меня уже звали лаборантом, сторожем и завхозом. Но я хочу преподавать английский язык. Или в крайнем случае циклевать полы.

— Вы будете циклевать полы в моем институте. Вам их хватит на всю жизнь. А вообще-то... Знаете что, так, пожалуй, даже будет лучше. Банк. Кто все знает за заграничные банки, как когда-то говорили в Одессе? Финансисты. Это мысль. В четыре часа.

Я пришел без десяти четыре, а без двух минут четыре в комнату ворвался Павел Дмитриевич, погоняя перед собой вальяжного молодого мужчину с элегантным плоским чемоданчиком в руках. На пухлом, гладком лице его застыло изумление.

— Это товарищ Рыженков,— сказал Павел Дмитриевич.— Я выкрал его прямо с работы.

Выкраденный Рыженков виновато улыбнулся. Должно быть, он не привык иметь дело с людьми типа Павла Дмитриевича.

— Товарищ Рыженков постарается помочь нам в определении национальной принадлежности банка, который видел Юрий Михайлович.

Товарищ Рыженков вытащил сигареты и вопросительно посмотрел на Павла Дмитриевича.

— Никаких сигарет, дорогой... как вас прикажете величать? А то «товарищ Рыженков» слишком официально.

— Никита Алексеевич.

— Так вот, дорогой Никита Алексеевич, спрячьте ваши сигареты. Курить будете, когда определите банк. И чем быстрее определите, тем быстрее закурите. Такой стимул вас устроит? Наполеон, как известно, запрещал своим помощникам ходить в уборную, пока они не управятся. Я не Наполеон и заменил туалет табаком.

Специалист по банкам несмело улыбнулся. Он никак не мог понять, куда он попал и что от него хотят. Он спрятал сигареты в карман и сплел перед собой пальцы рук, изображая готовность и внимание. Руки у него были такими же чистыми и пухлыми, как и лицо. И обручальное граненое кольцо тоже было новеньким и блестящим.

— Ну-с, начнем, друзья мои. Никита Алексеевич, вы эксперт. Берите бразды правления в свои руки. Задавайте вопросы. Юрий Михайлович опишет вам все, что смог увидеть.

Эксперт слегка развел руками. Жест извинения.

— Ну, что ж, начнем, как говорится, с самого начала. Юрий Михайлович, о какой стране идет речь?

— Это-то мы как раз и пытаемся выяснить,— сказал Павел Дмитриевич.

— Простите... гм...— На лице специалиста по банкам появилось удивленное выражение.— Я понял, что... Юрий Михайлович видел какой-то банк...

— Совершенно верно,— сказал Павел Дмитриевич, сердито пристукнул по полу палкой и нетерпеливо задергался на своем стуле — вот-вот взлетит.— Я вам об этом уже говорил.

— Я понимаю, я понимаю,— торопливо кивнул Никита Алексеевич, и было видно, что он привык бывать на совещаниях, где лучше всего было соглашаться во всем.

— Прежде всего речь идет о стране, в которой говорят по-английски,— сказал я.

Никита Алексеевич что-то записал в такой же аккуратной и пухлой книжечке, как весь он.

— Я видел медную табличку. Слово «Банк» я смог рассмотреть, а вот само название...

— Вы входили в банк?

— Юрий Михайлович... гм... не совсем был там,— сказал Павел Дмитриевич.— Я думаю, не в этом дело, и мы не будем этим заниматься.

— Я понимаю, понимаю,— закивал эксперт. Удивительное дело, как только он окончательно потерял всякое представление, что происходит, он успокоился, и на розовом его личике появилось деловое, будничное выражение.

— Само слово «Банк» было написано по-английски? Вы знаете английский?

— Да. Безусловно по-английски. Би-эй-эн-кей.

— Понятно. А сколько слов до или после слова «Банк»?

— Одно слово перед словом «Банк».

— Одно? Без артикля в самом начале?

— Без. Я насчитал в нем семь букв. Так по крайней мере мне показалось.

— Понимаю, понимаю. Английский язык. Семь букв...— Никита Алексеевич закрыл глаза. Губы его что-то беззвучно шептали.

— Я не уверен на сто процентов,— сказал я,— но мне показалось, что первая буква первого слова похожа на последнюю букву слова «Банк». То есть английское «кей». Теперь, когда мы заговорили об этом, мне даже кажется, я понимаю, почему обратил внимание именно на букву «кей».

— Почему же? — спросил эксперт.

— У нее в обоих случаях была очень высокая вертикальная палочка.

— Понимаю, понимаю,— кивнул эксперт, полез в карман и вытащил сигареты.

— Мы же договорились, молодой человек,— сердито сказал Павел Дмитриевич.

— Да, да, конечно,— поспешно согласился Никита Алексеевич, но сигареты не убрал и даже вытащил из пачки сигарету, выбив ее элегантным щелчком.— Киферс. Банк Киферс. Средний провинциальный банк в Шервуде. Капитал на первое января прошлого года составлял двести двенадцать миллионов. Сорок два отделения. Президент Джеймс Перси Аллейн.

— Шервуд? — переспросил Павел Дмитриевич.

— Шервуд,— кивнул Никита Алексеевич.— Вы разрешите?

— Что?

— Курить?

— Конечно, о чем вы говорите... А вы в этом уверены?

На пухлом лице эксперта промелькнула едва заметная улыбка превосходства.

— Вполне.

— В слове «Киферс» шесть букв, а не семь... Хотя, может быть, после «кей» идут две буквы «дабл и»?

— Совершенно верно.


мисс Каррадос

Павел Дмитриевич взлетел со своего места, пожал руку эксперта и выпроводил его из комнаты.

— А знаете, Юрий Михайлович, я даже рад, что ваша мисс Каррадос живет в Шервуде. У меня там есть коллега, с которым у меня недурные отношения. Я был у него дважды. В прошлом году он приезжал в Москву. Старик чудаковат, но честен и услужлив. Гм... конечно, просьба моя должна будет показаться ему безумной. Узнать, не проводят ли в Шервуде экспериментов с некой мисс Каррадос по установлению контактов с внеземной цивилизацией. Гм... Но, с другой стороны, если действительно такие эксперименты проводят, без него не обойтись. Он такой...

— А если мисс Каррадос действительно существует, но никаких опытов никто с ней не проводит? — спросил я испуганно. Я поймал себя на том, что уже начинаю волноваться за судьбу мисс Каррадос.

— Тогда старик Хамберт ответит мне, что я рехнулся.

— А сколько лет вашему Хамберту?

— Он всем говорит, что семьдесят четыре, но, по-моему, ему сильно за восемьдесят. Сильно. Сумасшедший старик, но дело с ним иметь — одно удовольствие.

Через три недели, когда я начал уже потихоньку забывать о мисс Каррадос и банке Киферс, во время урока дверь класса приоткрылась, и в щель просунулась совсем детская мордочка.

— Простите,— пропищала мордочка.— Вы Юрий Михайлович?

— Я, прелестное дитя. А ты кто?

— Я Штыканов Сережа. Вера Викторовна велела вам срочно прийти к ней в кабинет.

Мордочка исчезла, а я посмотрел на ребят.

— Ребята, чтоб без шума. Идет?

— Идет, Юрий Михайлович,— довольно загалдели ребята,— только вы не торопитесь...

— Здравствуйте, Вера Викторовна,— сказал я, входя к ней в кабинет.

— Добрый день,— сурово сказала она.— Садитесь и пишите.

— Уже?

— Что уже?

— Заявление об уходе?

— Не понимаю ваших шуток, Юрий Михайлович. Садитесь и пишите заявление о том, что просите отпуск на месяц без сохранения заработной платы.

— Я?

— Вы.

— А зачем?

— А вы ничего не знаете?

— Нет.

— Действительно не знаете?

— Нет.

— Мне позвонил академик Петелин и сказал, чтобы вам срочно оформили отпуск на месяц и дали характеристику для выезда за границу.

— Мне?

— Вам. Я решила, что все это глупые шутки. Чтобы академик Петелин звонил к нам в школу... Я извинилась на всякий случай и сказала, что на основании только телефонного звонка не могу и так далее. Этот человек начал кричать и бросил трубку. Через пятнадцать минут позвонили из районо. Сама Клавдия Васильевна. И повторила просьбу насчет вашего отпуска. А потом — из райкома. Насчет характеристики. Чтобы сегодня же привезли им. Я, конечно, сказала, что не возражаю... Но в середине учебного года...

— Клянусь, Вера Викторовна, это не моя инициатива. Я, конечно, догадываюсь, о чем идет речь, но я и думать не мог...

Вера Викторовна посмотрела на меня неодобрительно, но с уважением.

— А что все это значит? — спросила она.

— Да так... Гм... Ну, как вам сказать?.. Понимаете, просто подвернулась туристская поездка...

— И поэтому звонят из райкома, чтобы мы сегодня же привезли им вашу характеристику? Юрий Михайлович, может быть, кое-кто в школе считает меня человеком несовременным...— Вера Викторовна обиженно поджала губы.— Но я не настолько глупа, чтобы ничего не понимать. Что же делать, поезжайте и постарайтесь не уронить честь нашей школы.

Повинуясь какому-то импульсу, я взял руку Веры Викторовны в свою, нагнулся и поцеловал.

Она посмотрела на меня безумным взглядом. Она было открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут же снова закрыла его.

Веселый, сумасшедший вихрь подхватил меня. Я ничего не боялся. Все было возможно.

— Вера Викторовна,— пропел я,— я люблю вас, потому что вы замечательная женщина.

Когда я, пританцовывая, выпархивал из ее кабинета, я заметил, что директриса изо всех сил трет себе ладонью лоб.

Глава 16

Я позвонил Павлу Дмитриевичу, и, когда он ответил, трубка ударила меня током — так он был заряжен.

— Немедленно! — кричал он.— Все документы мне!

— Какие документы?

— Приезжайте, заполните все на месте. Мы летим послезавтра. До свидания, мне некогда.

— ...Мы летим послезавтра, мы летим послезавтра, мы летим послезавтра,— повторял я, как пластинка со сбитой бороздкой.— Мы летим послезавтра.

На мгновение мне стало стыдно. Я сяду в самолет, изображая на своем лице равнодушие много повидавшего путешественника, а Галя останется здесь. И Нина останется здесь. И Илья, и Вася, и Валентина. И Вера Викторовна, и Семен Александрович.

Хотя Семен Александрович сейчас все равно не смог бы расстаться с только что открытым своим шкафом...

Я позвонил Нине.

Да, конечно, она знает. Да, конечно, она желает нам успеха.

— Нина,— сказал я,— в шесть часов у выхода. Можно, я вас подожду?

— Нет, Юра, не нужно.

— Почему?

— Не нужно.

— Но почему? Я хочу попрощаться с вами.

— Не нужно, милый Юрочка. Вы очень хороший человек, и вы будете чувствовать себя неловко, потому что уезжаете, а я остаюсь. Потому что вы переполнены предстоящей поездкой, а я в вашем представлении остаюсь в печали и одиночестве. И, наконец, вам будет неудобно, потому что вы чувствуете какие-то несуществующие обязательства по отношению ко мне.— Нина вдруг рассмеялась.— Я

права? Вот видите, а то только вы читаете мои мысли.

— Нина, я...

— Не нужно, Юрочка. Вы милый, а поэтому молчите. И всего вам наилучшего. Мы все уверены, что все будет хорошо.

Я помчался в институт к Павлу Дмитриевичу. Самого его не было, но степенная секретарша удивительно домашнего вида достала из стола папочку и протянула ее мне.

— Павел Дмитриевич просил, чтобы вы все заполнили. Садитесь вот здесь.

Только я успел написать свой год рождения, как вихрем влетел Павел Дмитриевич. Седые его волосы стояли дыбом. Мелкие предметы кружились вокруг него. Он втянул меня в свой кабинет.

— Старик Хамберт нашел-таки мне мисс Каррадос. Ему это было нетрудно. Он сам принимает участие в опытах с ней. Финансирует фонд Капра. И у них решено пока не сообщать ни слова. Хамберт нисколько, оказывается, не был удивлен. Лина Каррадос тоже узнала о вашем существовании.

— А почему мы едем туда, а не они к нам?

— Потому что мисс Каррадос наотрез отказалась. У нее тяжело больна мать. Поэтому они пригласили нас. Вот уже билеты.— Павел Дмитриевич вытащил из кармана две длинненькие книжечки с красным флажком Аэрофлота.— Никто не мог бы добиться разрешения на нашу поездку за такой срок. Только старик Петелин. Каково, а? — Павел Дмитриевич нескромно засмеялся.— Всесоюзный рекорд! И знаете, Юра, почему люди идут мне навстречу? Не знаете? Я открою вам свой профессиональный секрет. Я требую настолько невозможные вещи, что люди просто поражаются. Поражаются и в состоянии транса делают. Вы представляете, что значит получить за три дня все разрешения, документы и даже визы в посольстве? А-а, то-то. Чиновник в посольстве настолько был изумлен, что раз пять переспросил меня, когда мы едем. «Да,— говорит он,— наши страны, конечно, сотрудничают, у нас много совместных научных программ, но чтобы оформить визы за трое суток — это неслыханно». «Ладно,— сказал я ему,— так и быть. Я согласен не на трое суток, а на двое. И учтите,— говорю я ему,— что вы становитесь на пути научных контактов, и мистер Хамберт, и фонд Капра, и вся ваша наука, не говоря уже о нашей, вам не простят, и вы никогда не будете избраны почетным академиком за заслуги в области быстрого оформления виз ученым». И знаете, Юра, за сколько хитрец оформил визы? За сутки. А сейчас не мешайте, у меня тысяча дел.

— Я вам не мешаю, Павел Дмитриевич, это вы учили меня, как жить вообще и добывать визы в посольстве в частности.

— Юрий Михайлович,— строго сказал Петелин,— в моем возрасте трудно переучиваться, а поэтому приходится всегда считать себя правым. Это удобнее, дорогой мой.

— Вы меня развращаете, Павел Дмитриевич,— совершенно серьезно сказал я, продолжая играть роль бесстрашного и наивного правдолюбца,— вы учите меня цинизму.

— Ах, Юра, Юра... Ваше счастье, что ваши друзья с Янтарной планеты выбрали почему-то именно вас. А то сколько есть молодых и не очень молодых людей, которые не спорят со старыми академиками, а соглашаются сразу, всегда и во всем.

— Я постараюсь,— сказал я и виновато повесил голову.

— То-то же. А сейчас выматывайтесь, мой юный друг, и не мешайте мне. На этот раз я не шучу...

— Жена,— сказал я Гале, как только она вошла в квартиру.— Я должен покинуть тебя. Послезавтра я улетаю.

— Ну-ну, хлеб купил или мне сходить?

— Я серьезно. Послезавтра я улетаю с академиком Петелиным в Шервуд.

Галя замерла на мгновение. Она наполовину сняла пальто, и оно висело у нее на одном плече. Обрадуется или обидится, что без нее?

— Ты шутишь.

— Нет. Честно.

Прыжком в длину с места Галя бросилась мне на шею. Пальто, развеваясь, полетело за ней вдогонку. Поцелуй с разгона был стремителен и точен. Она попала мне прямо в нос.

— Юрка, правда?

— А ты все говорила, что я тюфяк и не умею устраиваться. Кто завел блат на Янтарной планете? Юрий Михайлович Чернов. Всех обошел. Тихий-тихий, а как до дела — пожалуйста, вот он я.

— И ты прямо полетишь в Шервуд?

— А как ты хотела,— важно сказал я,— через Сокольники?

— Ой, Юраня, это же... это же...

— Конечно, это же.

— А что привезешь? Пончо ярко-синее. Замшевый брючный костюм...

— Пончо, а может быть, и ранчо.

— Ты все смеешься.

— Это я от серьезности. Смех — признак подлинной серьезности.

— Не болтай, Юрка... Как я за тебя рада, дурачок ты мой...

«Маленькая, глупая Люша,— подумал я,— как я мог только представить, что смогу жить без тебя».

— Люш, я понимаю, как тебе захочется завтра же так небрежно бросить между делом в институте: «Мой Юрка обещал привезти мне из Шервуда пончо. Знаете, девки, на Западе сейчас женщины просто помешаны на пончо. Практически не вылезают из него. Даже ночью». Так вот, к сожалению, тебе придется пока обождать с балладой о пончо.

— Почему?

— Потому что в Шервуде, как и у нас, решено пока не разглашать опыты. И едем мы с Петелиным по частному приглашению профессора Хамберта. Петелин — в качестве Петелина, я — в качестве его переводчика.

В глубине души я все-таки не верил, что мы летим. Не верил даже тогда, когда мы ехали с Галей в Шереметьево. Не верил, когда увидел на Ленинградском шоссе огромный указатель «Шереметьево-I», не верил, когда на дороге замелькали рекламные щиты Внешторга, не верил, когда наше такси остановилось около длиннющей машины с дипломатическим номером, из которой вылезла сказочной красоты негритянка в расшитой дубленке.

И только в самом аэропорту я начал подозревать, что, может быть, все это реальность, а не фантазии.

Петелина еще не было, и мы стояли около газетного киоска и молчали, потому что говорить нам обоим не хотелось.

Смуглая женщина вела за собой целый выводок смуглых ребятишек. Они шли за ней, как гусята, торопливо переваливаясь на коротких ножках. Последний, самый маленький, тащил на веревочке зеленого крокодила на колесиках. Крокодил, чем-то неуловимо напоминавший крокодила Гену, то и дело переворачивался на спину, и мне стало жалко его.

Молодая красивая женщина держала на руках одетую в шубку девочку, наклоняя ее к дипломатического вида мужчине, по всей видимости, отцу. Девочка, однако, дипломата целовать не хотела, а порывалась броситься за поднявшим вверх колесики крокодилом.

Напротив нас стояла группка наших спортсменов. Все были молоды, загорелы — наверное, прямо со сборов где-нибудь в Сухуми,— все в одинаковых синих пальто, и все смеялись. Наверное, рассказывали анекдоты.

Я вдруг почувствовал себя старым, мудрым и печальным. Впрочем, печаль моя была легка и тут же упорхнула, потому что, напомнил я себе, мы летим с Павлом Дмитриевичем в Шервуд и потому что мимо нас шли две стюардессы неземной элегантности и красоты и несли с собой обещание новых стран и новых впечатлений.

— Юрка,— сказала Галя,— если ты будешь так смотреть на всех красивых женщин, ты заставишь плакать маленьких детей.

— Почему?

— Потому что у тебя отваливается челюсть, и ты становишься похож на паралитика.

— Ладно,— сказал я со вздохом.— Не буду. Не хочу быть паралитиком.

— Что не будешь? Смотреть?

— Нет, открывать рот. А вот и Павел Дмитриевич идет.

Петелин стремительно надвигался на нас в сопровождении молодой женщины и мужчины лет сорока шоферского обличья.

— Неужели это жена? — успела шепнуть Галя.

— По-моему, жена и шофер.

Мы начали здороваться, и Павел Дмитриевич сказал:

— Знакомьтесь. Это моя внучка Леночка, а это ее папа и, стало быть, мой сын Владимир Павлович.

В этот момент страстный женский голос, усиленный динамиками, интимно прошептал на весь зал, что начинается регистрация пассажиров, вылетающих в Шервуд. Это было удивительно. И время вылета совпадало с тем, что было указано в наших аэрофлотовских билетах в виде книжечек, и номер рейса. Мираж не исчезал. Динамики прошептали все тот же призыв, теперь уже по-английски, и поблагодарили в конце с таким трепетом в голосе, что челюсть моя снова отвалилась бы, если бы не жена рядом со мной.

Мы попрощались легко и весело, как подобает старым путешественникам, слегка усталым глобтротерам, исколесившим, излетавшим и истоптавшим весь земной шар. Рио-де-Жанейро? Что вы, разве это интересно? Вот на прошлой неделе в Дар-эс-Саламе я...

Молоденький пограничник, пахнувший одеколоном, внимательно рассмотрел наши паспорта, потом улыбнулся и открыл турникет. Ветер дальних странствий уже гудел в моей голове, и она, моя бедная голова, кружилась оттого, что я напускал на себя серьезный и небрежный вид. Если бы они только знали, что я лечу за границу первый раз в жизни и мне хочется визжать от возбуждения и теленком носиться по залу ожидания!..

Мое место в огромном вблизи «ИЛе» оказалось у самого окна, и я снова поблагодарил судьбу, потому что я люблю смотреть из окошка самолета. Мы взлетели, и белые облака внизу казались такими плотными, такими похожими на огромную заснеженную равнину, что я начал искать глазами лыжников. Не может быть, чтобы в такой погожий день по такому свежему снежку, вобравшему в себя розоватость от зимнего солнца, не тянулись цепочки лыжников. Но лыжников не было.

Над вытянутым овальным окошком я заметил какую-то ручку и слегка нажал на нее. Опустилась синяя пластмассовая шторка, и снежная долина под нами окрасилась в густо-голубой цвет.

Погасли транспаранты с вечным наказом не курить и застегнуть привязные ремни. Павел Дмитриевич вытащил из кармана сигареты и предложил мне одну.

— Вы знаете, Юра,— сказал он,— я уже давно никуда не стремился с таким нетерпением, как сейчас в Шервуд. И знаете, почему? Мне не терпится познакомиться с тем, что они узнали о вашем народе У. Что это за цивилизация, на каком уровне развития они находятся? А то ведь ваши рассказы словно подернуты дымкой какой-то... Вы не обижаетесь?

Я сказал, что не обижаюсь, и посмотрел на часы. Одиннадцать часов утра. Вот-вот начнется перемена после третьего урока. Мария Константиновна смотрит в одну из своих крохотных записных книжечек и зоркими глазами профорга высматривает злостных неплательщиков профвзносов. Семен Александрович не спускает взгляда с обретенных сокровищ открытого мной шкафа. А кто же, интересно, сидит на моем месте рядом с нашим милым старым скелетом? И кто пытается перемножить в уме цифры на старом добром инвентарном номерке? И справляется ли Раечка с моими головорезами? И не отвергнет ли прекрасная Алла Владимирова дружбу проснувшегося Сергея Антошина?

Я, должно быть, вздохнул так озабоченно, что Павел Дмитриевич бросил на меня участливый взгляд и спросил:

— Что, Юрий Михайлович, так тяжко вздыхаете? Устали от жизни?

— Нет...

— И зря. Надо устать от жизни смолоду, а потом уже отдыхать. Вот я, например...

Я засмеялся.

— Что вы смеетесь?

— Это вы-то отдыхаете?

— А почему нет? — обиженно спросил Павел Дмитриевич.— Вот сейчас, например...

— Сейчас вы привязаны к креслу... По-моему, это единственный способ удержать вас на месте.

— Смотрите, Юрий Михайлович, я ведь могу и не взять вас старшим лаборантом. Почтительности в вас мало.

— А я из школы уходить не собираюсь.

— Как же вас там терпят? Учителя тем более должны быть почтительны к начальству.

— С трудом, наверное, терпят...

Павел Дмитриевич задумчиво сморщил нос и сказал:

— Юра, а почему все-таки вы мне так нравитесь? Это же противоестественно. Вы недостаточно почтительны, спорите, дерзки, независимы в суждениях, и из-за вас происходит одно из крупнейших событий в жизни человечества. А у меня в институте столько молодых людей, которые так прекрасно почтительны, с таким искренним жаром уверяют меня, что я всегда прав, и суждения и мнения которых всегда странным образом совпадают с моими.

Я захихикал, и Петелин сказал:

— Вот видите, и смех у вас несолидный. И дым вы выпускаете кольцами, а я не могу. Всю жизнь пытался научиться — и не смог. Может быть, я и академиком стал, чтобы хоть как-то компенсировать этот недостаток. А у вас, поглядите, какие кольца. Изумительные, первосортные, в экспортном исполнении.

Мне захотелось утешить старика.

— Павел Дмитриевич, вы не огорчайтесь. У меня тоже есть недостатки. Один мой близкий друг твердо установил, что я олигофрен.

— Олигофрен — это слишком общее понятие.— Павел Дмитриевич с интересом посмотрел на меня.— А точнее диагноз он не поставил?

— Как же, поставил. Он нашел у меня симптомы идиотии, общей дементности, дебильности и имбецильности.

— Очень, очень интересно. А кто ваш друг по профессии?

— Вообще-то он филолог, но работает в области технической информации.

— Передайте ему, что у него прекрасный глаз.

Павел Дмитриевич подмигнул мне и засмеялся. Удивительное дело, подумал я, почему судьба посылает мне таких замечательных людей? Чем я заслужил это?

Ответа на свой вопрос найти я не успел, потому что мысли мои начали разбредаться по сторонам, спотыкаться, останавливаться. С минуту или две я не мог сообразить, бодрствую я или сплю, но когда я увидел Илью, летевшего рядом с самолетом и заговорщически подмигивавшего мне, я решил, что все-таки сплю, и со спокойной совестью опустил голову на грудь.

Разбудил меня Павел Дмитриевич.

— Теперь я понимаю, почему они выбрали для Контакта именно вас,— сказал он с легчайшим намеком на иронию,— вы спите, как сурок.

— Я едва прикрыл глаза,— обиделся я и принялся тайком растирать замлевшую ногу.

— На три с лишним часа...

— Значит, скоро Шервуд?

— Над Шервудом бушует циклон, и аэропорт наглухо закрыт туманом. Мы садимся в Глендейле. И похоже, что мы просидим там сутки, а то и двое.

Как всегда, Павел Дмитриевич оказался прав. Мы проторчали в Глендейле ровно двое суток, пока циклону не надоело крутиться на одном месте над Шервудом и он благополучно не отбыл по своим делам.

Мы сидели в маленьком номере в гостинице, и я неторопливо читал увесистую газету «Глендейл геральд». В газете было сорок восемь страниц, и я рассчитал, что даже самый упорный циклон прекратится к странице тридцатой.

Сейчас я находился на третьей странице и читал о перспективах очередного повышения цен на нефть. Потом перешел к биржевым прогнозам. Перспективы были не очень блестящие, но они меня не расстроили. Не скрою, я даже испытал легкое злорадство, которое, наверное, испытывают все, у кого нет акций, когда читают, что те падают в цене.

Под биржевыми прогнозами почему-то была изображена молодая особа в лифчике. Ни сама особа, которая не блистала красотой, ни ее лифчик меня не заинтересовали, и я уже совсем было собрался перебраться на четвертую страницу, как вдруг почувствовал, что не могу этого сделать. Что-то слегка царапнуло мое внимание. Я скользнул глазами по газетной полосе. Нет, это безусловно была не нефть, не биржа. И тут я почувствовал, что начинаю быстро моргать глазами, как старая собака. Над девицей в лифчике было написано: «Бюстгальтеры «Контакт» льстят вашей фигуре и не стесняют движений! Мисс Лина Каррадос, участвующая в опытах профессора Хамберта по установлению контактов с внеземными цивилизациями, говорит, что бюстгальтеры «Контакт» дают ей ощущение космической невесомости».

Я протянул газету Павлу Дмитриевичу. Он надел очки и дважды прочел рекламу.

— Да,— сказал он,— ощущение невесомости...

Мы снова летели над белыми облаками, но мне почему-то уже не верилось, что вот-вот на снежной равнине покажутся лыжники.

Внезапно я услышал в себе уже ставшую для меня привычной гулкую тишину. Но на этот раз тишина не росла и не набухала медленно, как почка. Почти сразу она полнула, схлынула, оставив мне сознание, что этой девушки, мисс Каррадос, больше нет. Мы разъединились. Мой мозг еще не мог переварить это знание, а сердце уже сжималось, и в груди мгновенно образовалась холодная, сосущая пустота.

Чепуха, сказал я сам себе, пытаясь остановить надвигавшуюся панику, типичная истерия. Но слова были жалкими и беспомощными.

Должно быть, Павел Дмитриевич задремал, потому что, когда я коснулся его руки, он вздрогнул.

— Павел Дмитриевич,— прошептал я торопливо, чтобы ком не заткнул мне горло,— я ее больше не чувствую...

— Кого? — круто повернулся он ко мне, но глаза его уже знали.

— Каррадос.

— Точно?

— Да. Как будто она вдруг исчезла... Сразу, насовсем... Наверное, ее нет в живых...

— Космическая невесомость... Когда это случилось?

— Не знаю. Я почувствовал это только сейчас.

Павел Дмитриевич несколько раз качнул головой, откинулся на спинку кресла и пробормотал:

— Да...

Он сразу постарел на моих глазах, и белый задорный хохолок на его голове поник.

— Значит, наша поездка бессмысленна? — спросил я.

Детская привычка задавать взрослым вопросы, на которые заранее знаешь ответы. Детская привычка ждать от взрослых чуда. Чуда быть не могло. Каррадос не было, и поездка наша, едва начавшись, потеряла всякий смысл.

Павел Дмитриевич говорил о том, что я, возможно, ошибаюсь, что все равно остались хоть какие-нибудь материалы, а я думал о девушке в лифчике, который льстит фигуре, не стесняя при этом движений... Это же абсурдно. Смерть абсурдна, она нелепа, противоестественна. Был живой человек, и к нему протянулась ниточка сновидений с далекой планеты. И вот человека нет. И конец ниточки повиснет беспомощно. И исчезнет.

А если бы ей и не снилась Янтарная планета? Разве смерть от этого становится менее абсурдна? Что должны испытывать сейчас ее мать, отец? А может быть, у нее был жених?

Я, наверное, задремал, потому что вдруг испуганно вздрогнул. Я посмотрел на Павла Дмитриевича. Он уставился в какую-то книгу, но я видел, что он не читает. О чем он думает сейчас? Я вдруг почувствовал, что должен знать, о чем он думает. А может быть, не столько знать, о чем он думает, сколько проверить, могу ли я по-прежнему слышать чужие мысли.

Я сосредоточился, ожидая, призывая к себе шорох чужих слов. Но шороха не было. Не было звука чужих мыслей. Были лишь мои собственные беззвучные

мыслн, которые нспуганно бились в голове летучи-м'л мышами.

Нет, не нужны мне были чужие мысли, ни разу не получил я удовольствия, подслушивая бесплотное бормотание в чужих черепных коробках. Да и не вспоминал почти о своих способностях, пока не возникала в них нужда. Но зто был инструмент, было оружие в борьбе за признание Янтарной планеты, за реальность Контакта. Да, зто было не мое оружие, не я выковывал его. Мне его дали, и я отвечал за него. Конечно, я не мог потерять зто оружие сам. Это чушь. И все-таки в чем-то я был виноват.

Попробовать еще раз. Не спеша. Спокойно. Расслабиться. Не думать ни о чем. И как следует вслушаться. Жестяный шорох сухих листьев. Сейчас он зазвучит в моей голове.

Но он не звучал. Я ничего не слышал. Ничего. Я протянул было руку, чтобы коснуться руки Павла Дмитриевича и сказать ему о новой потере, но удержался в последнюю секунду. Мне было жаль его. Удар за ударом. И в обоих случаях я был вестником несчастья. Да и что зто меняло? Не повернуть же огромный «ИЛ» с полутора сотнями пассажиров обратно только потому, что учитель английского языка Юрий Михайлович Чернов потерял свою странную способность слышать чужие мысли? Способность, которая и существовать-то по всем правнлам науки не могла.

Две стюардессы, две прекрасные шереметьевскне богини, разноснли на пластмассовых подносиках злегантную международную еду. На их пластмассовых лицах были корректные международные улыбкн.

Я засыпал, просыпался, снова засыпал, а в сердце все торчала заноза.

Наконец нас снова попросили не курить н застегнуть привязные ремни, горизонт встал дыбом, и самолет начал снижаться.

Глава 17

Профессор Хамберт оказался точно таким, как я его представлял: высокий, сутулый, по-стариковски изящный. Он еще издали помахал нам рукой. Лнцо его было серьезно, н я понял, что, к сожалению, не ошнбся.

— Добрый день, Хью,— сказал Павел Дмнтрневич.

— Добрый день, Пол,— попробовал улыбнуться профессор Хамберт, но улыбки не получнлось.— Как долетели?

— Отлично. Познакомьтесь с Юрием Черновым.

— Очень рад,— пожал мою руку профессор. Кожа его рукн была суха, морщиннста н прохладна.

— Очень рад,— сказал я.

Пока, к своему некоторому удивленню, я поннмал, что говорит профессор.

«Почему Павел Дмитриевич не спрашнвает о Лине Каррадос? — подумал я.— Может быть спросить мне?» Я бросил быстрый взгляд на Петелина, но он незаметно покачал головой.

Мы прошлн к нескольким металлнческнм кругам, похожим на аттракцион «колесо смеха». Но на колесе былн не люди, а чемоданы. Хамберт спрашнвал Павла Дмнтриевича о ком-то, чьи имена былн мне незнакомы, н вдруг я подумал, что, может быть, все-таки ошнбся и мнсс Каррадос жива. Но я сам не верил себе. Ее не было. В голову мне вдруг забралась совсем суетная мыслишка, что я бы на месте Павла Дмнтрневича уже давно спросил старика про мнсс Каррадос, а он вот не спрашивает.

Мы выловили с вращающнхся колес свон чемоданы, прошли мимо обидно равнодушных таможенников и вышли на улицу. Здесь было теплее, чем в Москве, снега не было. Господи, вот я и в Шервуде, а где же желание прыгать теленком, что переполняло меня в Шереметьеве?

Мы уложили чемоданы в багажник машнны, профессор Хамберт сел за руль, повернул ключ зажигания и, прислушиваясь к бульканью двигателя, вдруг сказал:

— Пол, я был бы рад еще оттянуть то, что должен вам сказать, но вряд лн зто изменит что-нибудь...— Профессор вздохнул прерывисто, как обиженный ребенок, и посмотрел на нас. Черепашьи морщинистые веки прикрыли его глаза. А вдруг он не сможет нх больше поднять, подумал я. Но он медленно, с усилием поднял веки. В глазах тлело недоумение.— Почему, почему зто должно было случиться? — сказал он.— Простите, я даже не сказал вам, что, собственно, произошло...

— Мы все знаем,— в свою очередь, вздохнул Павел Дмитриевич. То ли из-за его акцента, то ли потому, что по-английски он говорил медленнее, чем по-русскн, слова его прозвучали особенно кротко и участливо.— Когда она умерла?

— Умерла? Кто сказал, что она умерла? Она жнва и, к сожалению, чересчур жива... Я думал, что мистер Чернов...

Мистер Чернов. Это я. Надо прнвыкать. Машнна плавно набирала скорость.

— Мистер Чернов еще в самолете почувствовал, что с вашей помощницей что-то случилось,— поспешил на мою защнту Павел Дмнтрневнч, н я понял, за что его любят сотрудники.

Старик, не оборачиваясь, пожал плечамн, н его пальто сморщилось на спине.

— В последние дни,— сказал он,— Линины сны сталн терять яркость. А во вчерашнюю н позавчерашнюю ночь снов не было вообще. Сегодня она лишнлась своих телепатнческнх способностей и сказала, что потеряла вас... Все кончено.

— Может быть, не надо торопиться, Хью? — сказал Павел Дмитрневнч.

— Еслн бы мне было хотя бы лет на двадцать меньше, я мог бы позволить себе не торопиться. В моем возрасте зто непозволительная роскошь. Простнте, Пол... Когда я узнал, что вы согласились приехать к нам, я сказал Марте: «Приедет Пол, и все вокруг него завертится, как в вихре. Как тогда в Москве, когда он нас чуть не замучнл своим гостеприимством н своей знергией...»

— Я не спросил, как поживает Марта.

— О, она здорова, насколько можно быть здоровым в нашем возрасте. И знаете, Пол, что она сказала? Она сказала, что прнготовит в день вашего прнезда нстннно русский обед для вас. И вот...

Профессор Хамберт замолчал. Стекла былн подняты, в салоне было тепло и тихо.

Мы молчалн. Я смотрел на спнну Хамберта. Возраст профессора выдавала его шея. Ему, наверное, действительно было много лет, потому что шея была похожа на черепашью, только вылезала не нз панциря, а нз темно-серого тяжелого пальто.

— Вы простите меня, друзья,— вдруг сказал профессор, не отрывая взгляда от дороги,— что я молчу. Но я ннкак не могу прнйтн в себя. Я никогда в жизни не нспытывал такого разочарования и такого презрения к людям. Вы знаете, почему они прервали Контакт?

Мы молчалн.

— Потому что Лина и мои коллеги продалн его. Да, продали! — Голос профессора стал высоким, почти крнкливым.— Я просил их всех: не сообщайте по-



ка никому о нашей работе, не давайте интервью, не поддавайтесь коммерческим соблазнам. Куда там!.. Попробуйте внушить менялам из храма мысль о благородстве... Как только газеты и телевидение пронюхали о нашей работе, мои сотрудники и Лина словно взбесились. В течение двух дней они раздавали самые нелепые интервью налево и направо. Они кинулись на соблазны известности, как голодные окуни на жирных червячков. И тут же нас осадили специалисты по рекламе. О, вы не знаете этих джентльменов! Только они менее чем за сутки могли придумать название духов «Далекие сны», губной помады — «Золотая планета», бюстгальтеров — «Контакт». Вы не представляете, что тут творилось! Бизнесмены крутились возле нас, как биржевые маклеры в день появления на рынке акций, о которых они и мечтать не могли... Я не знаю другого такого молниеносного оружия, как пошлость.

Мы молчали. Я понимал, что говорит профессор Хамберт, но слова все равно с трудом укладывались в сознании. Чтобы реклама была таким ужасным оружием...

— И вы думаете, что Контакт прерван именно из-за...— Павел Дмитриевич замялся, подыскивая слово.

— Торговли?

— Да.

— У меня в этом нет ни малейшего сомнения. Ведь и Лина и мистер Чернов действовали, очевидно, не только как приемники, но и как передатчики. Представляю себе, что должны были почувствовать жители Золотой планеты, когда у нас тут началась большая распродажа...

—Мы называли планету Янтарной,— пробормотал я, но профессор не обратил на меня внимания.

— ...Они, наверное, оглохли от щелканья наших челюстей, от жадного урчания, от злобного клекота конкурентов, наперебой набивавших себе цену. Людская подлость, помноженная на пошлость,— тут не только Контакт уничтожить можно, всю цивилизацию, того и гляди, взорвут... Впрочем, я, должно быть, немножко смешон в своем праведном гневе. Ведь мы всегда были большими мастерами торговли. Мы торговали всем — от мечты до человека, от искусства до снов...

Лина Каррадос с огромными светлыми глазами, со слабой, неуловимой улыбкой на губах. Лина Каррадос, продающая Янтарную планету за гонорар от рекламы бюстгальтеров «Контакт».

Нет, я не мог презирать ее, как профессор Хамберт. Мне было просто бесконечно грустно, словно она предала меня. Как, как она могла променять мелодию янтарных холмов на деньги?

— Но все-таки ведь что-то вы успели сделать? — спросил Павел Дмитриевич.

— Очень и очень мало. Сначала нужно было изыскать деньги, все организовать. И тут же началась коммерция. Да и что я теперь могу продемонстрировать? Базарную торговку, которая клянется, что видела необыкновенные сны? Пока она могла читать мысли, хоть этим можно было козырять...

Я познакомился с ней только на следующий день. Она вошла в комнату, посмотрела на меня, и я сразу узнал ее. Я молчал, потому что никак не мог придумать, что сказать ей. Я понимал всю абсурдность своего поведения, но губы мои были заморожены, и я не мог пошевелить ими.

Она улыбнулась. Наверное, она хотела, чтобы улыбка вышла вызывающей — ну, ну, послушаем, что этот еще будет проповедовать. Но сквозь вызов вдруг явственно пробилась растерянность. Она сразу стала жалкой и беззащитной. Наверное, она всегда была такой. Вероятно, ей всегда не хватало опоры, и она решила, что, продав подороже янтарные сны, крепко встанет на ноги.

А сейчас она сделала неуверенный шаг по направлению ко мне, вопросительно посмотрела. На мгновение мне показалось, что в ее глазах зажегся отблеск Янтарной планеты. Я потянулся к ней. Пусть не будет телепатии, но должны же нас связывать общие сны. Янтарные сны. Но прежде чем я успел шагнуть к ней, отблеск исчез, а улыбка стала жесткой. Она не хотела контакта даже со мной. «Боже,— взмолился я,— сделай так, чтобы она хоть ничего не сказала». И она ничего не сказала. Только пожала плечами. Повернулась и вышла.

Которую уже ночь я просыпаюсь в невыразимой печали. Я просыпаюсь рано, когда за окном висит плотная ночная темнота. Я лежу с открытыми глазами и слушаю редкие звуки на улице.

Я больше не вижу янтарных снов. Я не вижу больше братьев У, не слышу мелодии поющих холмов, не скольжу в воздухе по крутым невидимым горкам силовых полей, не спешу на Зов, не завершаю с братьями Узора.

И мир сразу потерял для меня золотой отблеск праздничности, кануна торжества, к которому я так привык. Хотя это не так. К празднику привыкнуть нельзя. Праздник, к которому привыкаешь, уже не праздник. А сны оставались для меня праздником.

Может быть, если бы это была только моя потеря, я бы относился к ней чуточку спокойнее. Или хотя бы попытался относиться спокойнее. Но это потеря для всего человечества.

Я здесь ни при чем. Я понимаю, что комбинации слов «я» и «человечество» по меньшей мере смешны. Но я ведь лишь реципиент. Точка на земной поверхности, куда попал лучик янтарных сновидений. Живой, на двух ногах, приемник из четырнадцати миллиардов нейронов.

Я лежу в темноте и тяжело вздыхаю. Это нелепо. Почему второй лучик с далекой планеты протянулся к человеку, который начал им приторговывать? Я ведь знаю стольких людей, которые берегли бы Контакт трепетно и с любовью. Нина, Илья, Павел Дмитриевич...

Никогда Галя не была так весела и ласкова со мной. Я ее понимаю. Куда привычнее быть женой учителя английского языка, который не только не слышит больше чужих мыслей, но часто не слышит того, что ему говорит жена. Жить с ходячим космическим приемником — это очень непривычно для женщины даже последней четверти двадцатого века.

А мы ждем. Я жду, пока к нам снова протянутся ниточки чужих сновидений. Должны же У и его братья понять, что не все на нашей планете готовы торговать далекой янтарной доверчивостью. Они это обязательно поймут.

Я жду.

Ждет Павел Дмитриевич.

Ждет мистер Хамберт.

Не знаю почему, но у меня такое ощущение, что мы обязательно дождемся...

Если ничего срочного не запланировано, то я его сам укладываю спать. Когда вечер занят, приходится просить о помощи медсестру или какую-нибудь мамашу. И я убегаю, пока Димку держат, и до меня доносится его громкий протестующий плач.

Разговаривал с Димкиной бабушкой. Представлялся, как Сергей Иванович. Старался говорить неторопливо, внушительно, «сочным» голосом. Часа через два медсестра передала, что вызывают доктора Сергея Ивановича.

Я вышел на лестничную площадку. Там была Димкина мать. Мы долго беседовали. Она меня благодарила. Передала Димкины слова: «У меня тут есть родной дядя!»

Когда Димку выписали, я рассердился, хотя и не знал, на кого и за что. Он меня, конечно, забудет. Но я-то его не забуду, пока жив. Благодаря ему понял, что дети меня могут любить. Обрел уверенность в себе. Подавил остатки «школьной доминанты». Стал опытнее. Почувствовал ответственность.

Впервые подумал, что, пожалуй, пошел по правильному пути.

...Как мне жаль тех детей, что больны! Это странное чувство: мне кажется, что самое главное — жалость, как бы совместное переживание боли. Пусть ребенок ощутит, что ты к нему небезразличен; остальное (лекарства, процедуры) не основное, не важное, вспомогательное. Прежде всего ты и ребенок. Те незримые (духовные, что ли?) связи, которые обязательно должны быть между вами. А болезнь ты вытеснишь, если поймешь, что это не только долг врача, но и долг друга...

Занятия прекращены. Весь курс бросили на эпидемию гриппа. Нашей группе достался трудный район. Работаем с полной врачебной нагрузкой. В иные дни с девяти утра до девяти вечера. Витька — по числу обслуженных вызовов — первый. Он вошел в азарт, будто сам с собой соревнуется. Иногда столкнемся на улице, он бросит пару слов и летит мимо, в руке тяжелый «дипломат», набитый справочниками. О поп-музыке ни гу-гу. Вздыхает: «Найти бы средство против новых вирусов!» О Сане, о нашем «паие спортсмене», в поликлинике ходят легенды. Его принимают за кого угодно, только не за студента. Его импозантность родителям нравится. Я слышал, как одна мамаша просила у регистратора: «К нам аспирант приходил, такой высокий, рыжебородый! Запишите к нему на прием, пожалуйста!»

Как-то незаметно Саня превратился в ходячую энциклопедию. Знает любую сложную пропись, любую возрастную дозировку, любую схему лечения. В его портфеле — солидные монографии, рефераты докторских диссертаций. Мы прозвали его «аспирантом». Он доволен, ибо твердо решил идти в науку, и прозвище словно предваряет его судьбу.

Распределение прошло как-то буднично и незаметно. Мне «выпала» Пермская область. Хорошо это или плохо, решу в ближайшие три года.

...Александр Федорович Тур. Академик с мировым именем. Наш учитель и высший авторитет. Автор учебников и монографий. Заведующий кафедрой госпитальной педиатрии... Но вот зрительное впечатление. По сцене ходит старичок в белом халате и говорит что-то тихим голосом себе под нос. Огонек лампы отсвечивает на лысом черепе. Студенческая заповедь: «Хочешь слушать Тура — занимай передние ряды». За кафедрой он теряется, маленький и какой-то мягкий, только очки академичны и строги. Напряженно слушаю. Материал интересный, трудный. Демонстрации больных убедительны и ярки. Тур не докладывает, не поучает, а как бы делится с нами. Он уверен, что для «подачи» знаний не нужны актерские эффекты, поэтому он говорит так просто, рискуя показаться скучным.

Я сдавал ему госэкзамен по педиатрии. Меня поразило, что, подойдя к постели больного, он переменился на глазах. Из беспощадно-строгого экзаменатора стал милым, добрым дедушкой. И ребенок потянулся ему навстречу, раскрылся, будто родному. Я видел, какой радостью было для них общение друг с другом...

В 1974 году Александр Федорович умер. У меня осталась фотография, где он снят вместе с нашей группой. И несмываемая картина в памяти: академик Тур у постели больного мальчика.

Институт позади. Предстоит работа. Все «госы» сдал на «отлично», однако я себя врачом не чувствую. Пока не чувствую... Быть может, это придет позднее...

Мне двадцать три года. По внешности — взрослый. Но угадываю в себе столько неперебродившего, легкомысленного! В пору заржать, как жеребенку, и, ошалев от ощущения молодости, понестись куда глаза глядят! Но надо быть сдержанным и умным. Надо быть мужчиной. У меня появились обязанности перед людьми, значит, я потерял право быть ребенком...

Составляю списки, что взять с собой. Больше всего — книжек... Очень боюсь попасть в недоброжелательный коллектив. Конечно, я еще новичок в медицине. Конечно, я буду ошибаться и, может быть, выглядеть жалко в каких-то ситуациях. Но если рядом окажутся люди добрые и, главное, тактичные, то я верю, что смогу подняться над уровнем ремесленника от медицины до уровня хорошего врача.

Билет взят. Через неделю вольюсь в полноводную реку народного здравоохранения. Как вы там, больные мои, поживаете? Тот купается до одури, не зная, что мне придется лечить его от ангины! Та гуляет с одноклассником росистыми вечерами, усердно стараясь подцепить пневмонию! Вот погодите, гаврики, свалюсь я на ваши головы!.. Или это вы на мою бедную головушку свалитесь?..

Последний день дома. Сердце сладко щемит. И надежда, что впереди только хорошее!

И вот третий год детским врачом в рабочем поселке. «Добрался до пациентов, — пишет нам Сергей, Сергей Иванович.— Лечу... И, знаете, все больше убеждаюсь, что ни одной, даже самой пустяковой болезни не победить, если нет у тебя духовной близости с пациентом: если ты сух, педантичен, мастеровит — и только. Иногда лечить начинаешь, не применив ни одного лекарства, и получается: человек идет на поправку... Полюбил свое дело. Люблю и помню всех своих подопечных ребят и девчушек. Может быть, скоро пришлю вам продолжение своих записок. Там о том, как нелегко состояться врачу. До встречи».



ПУБЛИЦИСТИКА

Лариса
ИСАРОВА

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО

Невыдуманные истории

Рисунок
Е. МУХАНОВОЙ.

Джигитова я заметила с первого урока — уж очень это была живописная личность! Длинное лицо, длинный нос, длинные соломенные волосы — и сощуренные узкие глаза, прыгающие бровки, язвительные губы.

Под курткой у него был намотан вокруг шеи яркий шелковый платок, расписанный русалками,— бич всех учителей, которые с неравным успехом пытались снять с Джигитова это украшение, слишком сильно действующее на наши нервы.

Если Джигитов уважал учителя или если урок был ему интересен, он застегивал куртку повыше, но если у него намечался конфликт — русалки немедленно выпускались на свободу, поскольку концы косынки свешивались поверх куртки.

Из-за этого платка его даже вызывали на педсовет, но он остался непоколебим, заявив, что у него хроническая ангина, что синтетика противопоказана его горлу, а платок из натурального шелка, а главное, что нет никаких специальных постановлений министерства просвещения, запрещающих ученикам носить под куртками платки с русалками.

Соседа Джигитова по парте я особенно не выделяла. Спокойный троечник, курносый, пухлый, не претендующий на более высокие оценки, Бураков оживал, только если его донимал Джигитов. Тогда он пыхтел, краснел, виновато поглядывая на меня, с грацией юного бегемотика стараясь отжать Джигитова на его часть парты.

Когда мы изучали «Войну и мир» Л. Толстого, я дала сочинение на тему «Лицо — зеркало души?!». Мне хотелось бы, чтобы девятиклассники вчитались в портретные детали Толстого и попытались описать внешность любого интересного им человека...

Тетрадь Джигитова была щедро разукрашена изображениями фантастических самолетов — не только на обложке, но даже на полях — разноцветной пастой.

«Я хочу написать свой портрет с человека, чье прозвище Джон. У него лицо добряка и такой же характер: глаза зеленые, нос картошкой и небритые еще усики. Прическа а ля Армстронг дополняется круглой физиономией, всегда всем довольной, и пухлыми губами бантиком. Особые приметы: носит очки, когда поблизости нет девочек. Особенности характера: болезненно реагирует на шутки. Жизнерадостное выражение сменяется бешеным, и сыплются угрозы, которые никогда не выполняются, а через минуту снова мир и тишь на круглом лице. Относительно его воли я пока точных данных не имею, но смею предположить, что она не гигантских размеров».

Сразу за тетрадью Джигитова в стопке сочинений лежала общая тетрадь Буракова в целлофановой обложке, такая аккуратная, точно принадлежала девочке.

«С этим человеком я познакомился в начале года. Его лицо ничем не привлекательно, разве что язвительными тонкими губами, похожими на прыгающих змеек. Но он может исподтишка навредить другу, унизить, задеть, не думая, как делает больно, просто из любопытства. Забудешь, а он снова растравляет рану, точно проверяет твое терпение, он ни о ком не думает, он видит и слышит только себя. Наверное, вы спросите: зачем же ты дружишь с ним? Отвечу — с ним всегда интересно...»

Когда я принесла сочинения в класс, я спросила перед уроком Джигитова и Буракова — можно ли прочесть их работы вслух, не называя фамилий. Бураков замялся, а Джигитов, который до сих пор имел у меня только «тройки» и считал это явным

недоразумением в наших отношениях, милостиво сказал:

— Бога ради! Читайте, пойте, танцуйте.

Тогда и Бураков махнул рукой:

— Ладно, только без фамилии...

Но девятиклассники сразу догадались, кто писал и о ком, и Горошек сказала, что Джигитов вивисектор!

А Ветрова добавила:

— Мне всегда казались жалкими люди, которые не умеют ни любить, ни ненавидеть, ведь у них пустые души...

Я не смотрела на первую парту, но чувствовала, с каким напряжением Джигитов сохранял спокойствие. Популярность явно оказывалась не той, на которую он рассчитывал. И он поднял руку:

— Вы обещали меня спросить по роману «Война и мир», если я его одолел весь...

— О ком же вы хотели бы рассказать?

— О Долохове.

— Но о нем на прошлом уроке говорила Горошек.

— Меня не устраивает трактовка этого образа предыдущим оратором...

Горошек фыркнула, она была не только самой маленькой по росту в классе, но и самой смешливой, титул «оратора» ее совершенно восхитил.

Джигитов вышел к доске, сильно сутулясь, заложив руки за спину, и, шаркая ногой так, точно натирал паркет, стал пересказывать все эпизоды романа, относящиеся к Долохову. Бураков сидел красный, он волновался больше Джигитова, а его друг упивался звуками своего голоса, как весенний соловей. Когда он кончил и скромно улыбнулся, ожидая «пятерки», я сказала: «Пересказ не анализ. Тройка».

Джигитов всполошился, но старался не ронять достоинства.

— Прошу прощения, что же вы хотели услышать?

Он не собирался сдаваться на «тройку» без боя.

— Вы не делали никаких оценок характера Долохова. К примеру, был ли он эгоистом?

— Ах, в таком разрезе? Пожалуйста. В общем, так. Он из бедной семьи, согласны? Мать и сестру любил, помогал им, согласны? Соню полюбил, потому что ее унижали Ростовы, согласны? Воевал не при штабе, как всеобщий кумир Болконский, согласны? Где же здесь эгоизм?

Лица девятиклассников оживились, все очень любили, когда у меня возникали споры с учениками.

— Но тем не менее Долохов мог жить на иждивении у Пьера, брать у него деньги, а потом соблазнил его жену?

— Пусть не будет лопухом ваш Пьер, так сказать...

— А когда он пытался шантажировать Николая, чтобы тот велел Соне выйти за него замуж?

— Ваш Николай был маменькин сынок, а с Долоховым никто не нянчился. Вот он его и не жалел.

— Речь шла о Соне.

— Ну, она просто не поняла Долохова. Я уверен, что такой смог бы потом заставить себя полюбить.

— Заставить?

— Долохов, с вашего позволения,— личность, такие всегда всех подчиняют. И сами себе хозяева. Хотя, может быть, он и мог бы подчиниться Соне, так сказать, на почве любовных эмоций. Но это не унижает мужчину...

На лице Шаровой мелькнула довольная усмешка. Когда урок шел нестандартно, она всегда становилась похожей на кошку, перед которой чудом возникло блюдце со сметаной.

— Значит, ты веришь в силу его чувства к Соне?

— Конечно, именно потому, что она его любила. Такие всегда мечтают о трудностях. Остальные же дамы сами ему вешались на шею, как елочные украшения.

Девочки возмущенно переглядывались, но он и не смотрел в их сторону.

— А можно ли считать Долохова карьеристом? — продолжала я «наступление» на Долохова.

— С моей точки зрения, прошу прощения, он элементарно хотел выбиться в люди. За него же никто не просил, как за Пьера, Андрея, он не имел блата, так сказать. Только ему всерьез влетело за медведя, не правда ли?

— И вам его храбрость не показалась показной?

— Да поймите, ему было наплевать, что о нем думают люди, он себе цену знал, не давал никому помыкать...

— Короче, в нем не было недостатков?

— В любом варианте он лучше ваших киселяев Пьера и Николая, он никогда бы не сидел на папочкиной шее, не бросил бы Платона Каратаева...

Лицо его горело, он не замечал, что довольно откровенно изложил и свою философию. Я сказала, что ставлю «пять» за знание текста, хотя и не согласна с его «реабилитацией» поступков Долохова.

Джигитов сел, но что-то продолжало его жечь, не утешила даже долгожданная отметка. И он вдруг поднял руку:

— Будьте любезны, вы не в курсе, сколько стоит на толкучке томик Симеона?

Ветрова даже подскочила от возмущения.

— Не знаю, мне покупать книги у спекулянтов не по карману. А почему вас это именно сейчас заинтересовало?

Он небрежно развалился на парте и, поигрывая замысловатой ручкой в форме капитанской трубки, изрек:

— Да вот у бабки рылся в шкафу, нашел много всякой рухляди книжной, кажется, ценной...

— Вам очень нужны деньги?

Он повел плечами, как солистка ансамбля «Березка».

— Я люблю поп-арт, мемуарную литературу. Да и в курсе новинок самолетостроения нужно быть...

— У вас много увлечений.

— Последнее не увлечение, ведь я буду художником-дизайнером.

В классе послышались смешки, но Джигитов даже не шевельнулся, он вел себя так, точно мы с ним находились с глазу на глаз...

Дружбу Буракова и Джигитова не нарушила заинтересовавшая обоих мальчиков Горошек, удивительно соответствующая своей фамилии. Это была маленькая девочка, похожая на говорящую куклу. Только у куклы было низкое бархатное контральто, и любые стихотворения в ее исполнении приобретали трагическую окраску.

Я постоянно поручала ей доклады о поэзии. И хотя она страшно волновалась, теряла закладки, хваталась рукой за голову и начинала накручивать на палец челку, в ее выступлении всегда была неподдельная влюбленность в поэтическое слово, удивительная для пятнадцатилетней девочки понимание его оттенков. И в классе во время ее выступления устанавливалась заинтересованная тишина.

Горошек читала поэтические строки наизусть и, окончив, тяжело роняла руки, глядя огромными глазами вдаль. И я замечала, как не сразу отводили от нее взгляды самые иронические мальчики.

Бураков поддался ее чарам сильнее других, хотя стихов не любил, и Джигитову приходилось в такие минуты его сильно толкать, чтобы привлечь внимание. Он-то девочкой не интересовался.

Однажды, когда Горошек должна была делать очередной доклад, она подошла к моему столу с огромной тетрадью, похожей на счетоводную книгу, положила руку на горло и прошептала, что нечаянно съела вчера три порции мороженого...

И тут Джигитов с ленивой усмешкой предложил прочесть вслух ее доклад. Она радостно закивала, глядя на него как на спасителя. (Речь шла о четвертной оценке). И когда Джигитов встал рядом с ней, она открыла тетрадь.

Зрелище было комическое. Длинный, разболтанный Джигитов и крошечная Горошек, от волнения то и дело привстающая на цыпочки. Она подпрыгивала, дергала его за рукав, когда ей казалось, что тон его был очень уж ироничен.

А после уроков я увидела идущую впереди меня пару: размашисто шагавшего Джигитова с развевающимися по ветру волосами и семенящую рядом Горошек, которая держалась за его палец. За ними медленно плелся Бураков,— совсем близко, в трех шагах, но они его не замечали, поглощенные разговором и весной. И мне вдруг показалось, что с этой девочкой Джигитов сбросит с себя маску циника и нахала, как сбросил пестрый свой платок. В этот день я почему-то на нем платка не видела...

Меня очень интересовало, почему Джигитова так не любят в классе, почему все так иронизируют, когда о нем заходит речь?

Может быть, все дело было в том, что Джигитов откровенно демонстрировал ко всем без исключения свое презрение? Свою «культурность»? Или ребят злило, что он не входил ни в какие группировки? А скорее, раздражало странное сочетание цинизма и ребячливости.

Один раз на уроке я застала Джигитова в противогазе. Кто-то забыл его в парте после военного дела. Я сделала вид, что Джигитов в противогазе на литературе — нормальное явление. Он вертелся, обливался потом, но не сдавался, он очень надеялся, что я его или вызову, или выгоню, или накричу — он не был только готов к равнодушию.

На перемене, сняв маску, он сказал с надеждой:

— А в дневник вы мне ничего внушительного не напишете?

— А за что?

Он утер лицо платком с русалками, появившимся, как у фокусника, из рукава, и вздохнул.

— Эх, надо было это сделать у Нинон Алексеевны! То-то звону по школе было...

— Вам сколько лет, Джигитов? — спросила я.

— Шестнадцать...

Он смущенно шмыгнул носом. Понял...

Когда мы поехали на экскурсию в литературный музей, я попросила Джигитова собрать у всех деньги на билеты. И еще я боялась растерять учеников по дороге. Поэтому я сказала, что прошу Джигитова с высоты своего роста нести службу дозорного, чтобы никто не отставал.

Мои поручения он воспринял крайне серьезно. Собрал деньги, а затем все путешествие вел себя как пастух, которому доверено стадо бестолковых овец. Домой девятиклассники возвращались без меня, я осталась в библиотеке, и Джигитов доставил всю группу в полном порядке, только девочки возмущались, что он относился к ним как к неодушевленным предметам.

На другой день я поблагодарила его, он иронически усмехнулся и с тех пор исполнял роль «пастуха» во всех наших походах в театры и музеи. Мне казалось, что я угадала характер этого мальчика, крайне самолюбивого, с детства задетого непризнанием товарищей. Тем более что при всей развязности он, видимо, был и застенчив и легко раним — может быть, Бураков это понимал?!

Не случайно он иногда, слушая остроты Джигитова, смущался из-за его детских выходок. И на усатом розовом лице Буракова появлялось выражение, напоминающее смущение молодой матери, чей ребенок настолько плохо воспитан, что в гостях громко попросился на горшок... Бураков даже пытался его опекать, страхуя от колкостей товарищей. Этот мальчик все больше завоевывал мое уважение. И своей привязанностью к другу и тем, что никогда не просил о пересдаче.

Однажды Джигитов после уроков дождался меня и сказал, что хочет избавиться от тройки. Я предложила ему подготовить доклад по творчеству любимого им писателя.

— А можно, я расскажу о Романе Киме — детектив высшего класса! Или вы презираете этот жанр?

— Жанр нельзя презирать, можно презирать плохие произведения. А что вас привлекает в Киме?

Джигитов немного покачался надо мной, двигая ногой, точно натирал пол.

— Умный, так сказать, человек. Родился, как говорится, в более-менее приличной семье. Все написано явно документально, значит, писал не выходец из кабинета. И без сю-сю-сюплей, так сказать. Фраза бьет, как током, сказано — сделано, никаких сентиментов и бульварных красот...

— Чем же интересны герои Кима?

— Не сопливы, не болтливы, не трусливы. Короче, истинные джентльмены.— И захихикал.

Тогда я сказала:

— Кстати, Джигитов, почему бы вам не помочь Буракову с литературой, он все понимает, но ему трудно выражать свои мысли.

— Бураков, между нами, излишек производства, как говорится. Ну, зачем таким «личностям» десятилетка? Шел бы в шоферы. Его ведь ничего не интересует, кроме «Москвичей» и «Жигулей».

Я опешила, глядя на его тонкие, презрительно искривленные губы.

— А для вас десятилетка обязательна?

— Зачем ханжить?! Конечно, я кое-чего добьюсь. Я и рисую и в математике не последний, как вам известно: я-то смогу внести свой кирпичик в науку, а он? Пардон, такие середнячки нужны, конечно, как фундамент, но стоит ли государству на них тратить столько средств?

А ведь он дружил с этим человеком, принимал его помощь?!

— Бураков знает о вашем отношении, о тайном презрении?

Джигитов пошевелил своими длинными бровями:

— Он ценит мою объективность. Главное для таких — не самообольщаться...

Вновь мальчики приоткрылись в сочинении «Что вы понимаете под термином «хорошие манеры»?».

Бураков написал: «Хорошие манеры — это хорошее отношение к людям. Если ты, проходя, не забудешь поздороваться с родителями, с соседями — это хорошая манера. Если в автобусе, где ты сидишь, появляется старушка, и ты, хотя сзади есть свободные места, уступаешь свое место — это хорошая манера! И тебе потом тоже станет хорошо, ты хоть на каплю кому-то сделал жизнь легче».

Джигитов подал мне вырванный из тетради листок, озаглавленный: «Произведение нерадивого ученика Гогочки Джигитова. Хранить вечно у сердца».



Дальше шло круглыми крупными буквами:

«По убеждению я хиппарь, неокритист и сторонник возврата к матушке-природе. Главное в наше время — удивить. А поэтому я люблю шокировать. Чтоб какая-то Дунька, возвращаясь с вечера, говорила мужу: «Цыпочка, а ты видел того, с длинными волосами и в тулупе?» При этом надо не улыбаться, делать мрачное, тупое лицо, а потом что-то произнести по-английски. Гарантируется стопроцентный успех!»

Джигитов очень обиделся, когда я назвала его работу ребячливой...

На другой день, подходя к школе в середине уроков, я увидела Джигитова. Кончался март, а он разгуливал без пальто, босиком, в закатанных до колен брюках, стараясь не пропустить ни одной лужи во дворе.

— Странные купания,— сказала я.— Назло кому вы себя калечите?

Он пошевелил пальцами красных, как у гусака, ног.

— Меня не пустили в школу. Сказали, что обувь грязная. Вот я и мою ноги, авось босиком можно будет шествовать по коридорам!

Из подъезда выбежала бледная Кира Викторовна. От волнения она не могла говорить, она подскочила, хотела ухватить Джигитова за ухо, промахнулась, уцепилась за его длинные сальные волосы и потянула в школу, где его уже ждали Наталья Георгиевна и школьная медсестра.

Но что бы он ни выкидывал, в классе вокруг него был вакуум, и он от этого страдал, хотя и подчеркивал, что может существовать без друзей. И хотя все учителя признавали его способности, он шутя, ничего не делая, учился на четверки,— ему никогда ничего не поручали. Кира Викторовна сказала:

— Я не могу с этим наглецом беседовать, он точно снисходит до меня.

А Стрепетов, комсорг десятого класса, пояснил:

— Понимаете, любой из наших ребят или делает или не делает, а Джигитов хоть и сделает, но при этом так хихикает, так все критикует — связываться противно...

Когда в конце десятого класса мы повторяли «Горе от ума» Грибоедова, Джигитов принес в сумке котенка, нежно его гладил и пояснил, что вынужден его носить в школу, так как дома котенку без него скучно.

Ветрова предложила, чтобы десятиклассники определили, кто из них на каких героев Грибоедова похож. Она заявила, что если комедия бессмертна, то и черты характеров героев наверняка встречаются в наше время.

— Я прошусь в Скалозубы,— усмехнулся Петряков.— Как хорошо быть генералом...

— По-моему, Софья не отрицательный образ,— возмущалась Горошек.— Она умная, гордая...

— Типичный отрицательный,— лениво проговорил Джигитов,— она дама, этим все сказано, мозги куриные...

Шутливый обмен репликами вдруг оборвался, и Ветрова сказала:

— Боюсь, что у нас нет ни Чацкого, ни Молчалина, у нас есть Молчацкий, то есть Джигитов.

Аплодисменты были настолько всеобщие, что он растерялся, хотя и пробовал отшутиться:

— А я хотел претендовать на роль Репетилова.

— Конечно, ты всегда много болтаешь,— согласилась Ветрова,— но ты способен и как Молчалин добиваться своего...

Я удивилась ее резкости, эта девочка мне не казалась жесткой. Но после уроков Ветрова сказала, что Джигитов подал заявление в комсомол.

— Понимаете, я думала, что он смелый, что у него есть убеждения, а он — приспособленец. Как узнал, что это важно для поступления в институт, сразу такое патриотическое заявление написал, а ведь сам все всегда у нас высмеивает...

Она брезгливо поморщилась. Она не выносила демагогии и вступила в комсомол, чтобы добиваться справедливости, чтобы отстаивать то, во что верила: жить надо ярко, честно, увлеченно...

Встретив Джигитова после уроков, я сказала, как меня удивило его внезапное желание вступить в комсомол. Он покрылся красными пятнами.

— Я считала, что вы из тех людей, которые должны верить в то, что делают, а оказалось, что все ваши иронические высказывания были только бравадой, способом шокировать...

Джигитов еще больше покраснел.

— И я думаю, что вы из тех людей, которые ломаются там, где люди, вами презираемые, окажутся настоящими людьми. В трудные минуты жизни...

Он секунду колебался, но промолчал, опустил голову и пошел по коридору, как старик, волоча ноги. Он не защищал свое достоинство, и это было мне больнее всего...

А Бураков взрослел на глазах. Он все реже простодушно и смущенно улыбался во весь рот, все реже терялся. Он с пыхтением преодолевал неподдающиеся предметы и даже по литературе стал получать «четверки».

Перелом произошел после его сочинения о Блоке: «Блока я не понимал, а потому и не любил. Уроки в школе мне ничего не дали, я не смог вслушаться в прелесть стихов. Но вот недавно я прочел в одной книжке, как после революции Блок пришел в институт читать лекции. Был страшный мороз, в зале сидел один студент. Блок ему четыре часа читал лекцию, потом расписался в журнале за два часа и ушел, забыв свою пайку хлеба... И теперь я все представляю, как Блок в мороз шел по Ленинграду, голодный, в легком пальто... И пытаюсь читать его стихи. Пока я их еще не понимаю, но я уверен, что скоро одолею».

Когда десятиклассники писали сочинение на аттестат зрелости, я заглянула в работу Джигитова. Он взял темой «Воспитательное значение советской литературы» и разразился ура-патриотическими фразами, хваля именно те произведения, над которыми иронизировал в году.

— Плохо. Недостойная вас фальшивка, раньше вы писали запальчиво, но честно...

— Мне надо кончить школу, так сказать, в «ажуре».

— Ажура не будет. Ничего нет хуже приспособленца.

Он набрал воздуха, хотел огрызнуться, но сдержался и только прошипел:

— Все воспитываете... И на экзамене. Неэтично...

Я ничего не ответила, а потом заметила, как он перечеркнул свой черновик и начал писать о «Войне и мире». И тут меня подозвал Бураков, совершенно багровый от волнения.

— Ничего не говорите, только кивните. Это — то?

И я прочла первые строчки его сочинения: «Мне эта книжка досталась без обложки, поэтому я не знаю точно ее названия, фамилии автора. Я ее назвал для себя «Три года в лагере смерти». Можно много приводить примеров ужасов. Книга написана не очень литературно, но она подкупает своей правдивостью и суровой искренностью. И вот тут я могу

ответить на вопрос — в чем же воспитательная роль советской литературы, потому что, читая эту книгу, нельзя не ощущать дрожи во всем теле, закипающего в тебе яростного гнева. Читая эту книгу, очищаешься от мелочей и жизненной мишуры, думаешь только, какая же сила смогла сохранить и пронести в борьбе чувство человечности у заключенных, веру в нашу победу? И я считаю, что такие книги необходимы. Они не дадут забыть уроки истории, не позволят разгореться новой войне. Хотя, конечно, писателю надо оттачивать рельефную силу слова, потому что брак в литературе обходится так же дорого, как и в технике...» Бураков следил за мной, пока я читала, и облегченно вздохнул, когда я кивнула. Мы поняли друг друга, хотя я не сказала ни слова.

А позже, после устного экзамена по литературе, когда я объявила отметки, Джигитов сжал кулаки. Он не мог поверить, что у него по сочинению стоит тройка, а у Буракова — четверка. Он даже переспросил меня... И хотя это не отразилось на его отметке в аттестате — все равно у Джигитова была четверка, а у Буракова тройка,— он настолько на меня обиделся, что даже не подошел на выпускном вечере.

Ко мне подсела его мать, молодая женщина с совершенно седыми волосами и такими бледно-голубыми прозрачными глазами, точно она много и долго плакала.

— Я хотела вас поблагодарить. Жора с вашим приходом стал много читать, а раньше кроме самолетов и пластинок ничего не признавал...

— Он очень способный, ему все легко дается, но он у вас какой-то еще инфантильный.

Мать Джигитова тяжело вздохнула.

— Не все ему легко дается. Меня он до сих пор не простил.

— Вас?

— Да, вот и так бывает. Понимаете, его отец оставил нас пять лет назад. Жора стал жить то у меня, то у бабушки. Она его, конечно, жалела, баловала. А недавно я посмела выйти замуж. Вы не улыбайтесь, это не мои, это его слова. Понимаете, захотелось все же и личной жизни... А он озлобился. Когда же я решилась на сестренку, совсем ушел, три дня не ночевал... Меня только из роддома привезли. У меня даже молоко пропало от волнения...

Мимо нас прошел Джигитов, держа под руку Тихомирову. Мать окликнула его, но он дернул плечом, точно отмахиваясь от мухи. Он даже не взглянул в нашу сторону.

— Спасибо Буракову,— продолжала рассказывать его мать,— разыскал, привел. А мой так с ним похамски обращается...

Напротив нас у стены стояла маленькая Горошек. Она была в пышном белом платье, с прической, но лицо ее не казалось праздничным. Она, не отрываясь, смотрела, как танцевал Джигитов с Тихомировой, вкрадчиво нагибаясь к этой ослепительно красной девушке.

— И девочку обидел,— говорила его мать,— то не разлей водой были, а то — надоела. Жаловался, что она все время выясняет отношения и плачет. И придумал дурацкую теорию. Мечтает жениться на женщине старше лет на десять. Чтоб его понимала с полуслова...

Осенью я узнала, что Бураков поступил в автодорожный институт, сдал экзамены на четверки, а Джигитов в Строгановское училище провалился. Я была ошеломлена, как и остальные учителя. Мы все так верили в будущее этого мальчика, что нам показалось нелепой шуткой известие, что Джигитов устроился резчиком бутербродов в кафе при кинотеатре. Но, когда мы случайно встретились на улице, он подтвердил это.

Джигитов в замшевых брюках, в яркой рубахе казался совсем взрослым, и все же сделал сначала такое движение, точно хотел перебежать на другую сторону улицы или спрятаться за прохожих. Я остановила его. Волей-неволей он раскланялся.

— Ну, где вы сейчас, что делаете? — спросила я, надеясь, что ребята меня разыгрывали, что новость о Джигитове не очень остроумная выдумка его недоброжелателей.

— Я кухонный мужик, так сказать, с десятилеткой. В кафе. Если забежите, могу осетринку подкинуть, икру красную, у нас иногда бывает...

Он больше, чем обычно, кривил губы и щурил глаза, но тон его был вполне благодушный.

— Зачем это вам? Кого вы наказываете?

Он усмехнулся.

— Надо же где-то перекантоваться до армии. А там — светло, тепло и не дует...

Несколько дней у меня жгло в душе, когда я вспоминала эту встречу, а потом ко мне пришел Бураков. Он долго мялся, пока пожаловался, что Джигитов от всех товарищей прячется, выпивает...

— Вот я и подумал, может быть, притащить его к вам? Вы его умели задевать... Авось встряхнете, как тогда, на уроке о Толстом, о Грибоедове...

— Он тебе по-прежнему не безразличен? — спросила я. Бураков изменился, но краснел он по-старому.

— Жалко... Нелепо все... Джигит и без коня...

Он умоляюще посмотрел на меня.

— А как с ним бывало интересно! У него фантазии на все случаи жизни. И он никогда не повторялся. Отец говорил, что он настоящий аккумулятор идей.

Он помолчал и добавил после паузы:

— Он мне завидовал, что у меня родители, дом нормальный... Он у нас никогда не дурил, честное слово... И знаете, у меня отец и мать — инженеры, и неплохие, у отца — Государственная премия, так они им восхищались, считали, что ему надо заниматься прикладной эстетикой... Как-то нечестно, наверно, что я в институте, а он...

— Он провалился на творческом конкурсе? — спросила я.

— Да. И представляете, преподаватель сказал, что, конечно, он творчески одаренный человек, но в его картинах слишком много рационализма...

Бураков возмущенно хмыкнул.

— А он нарочно такие картины понес, чтобы сразу показать свою самобытность, он же мечтал стать художником-дизайнером. Ну, а потом отнес документы в МАИ и тоже — осечка. Математику сдал хорошо, а в сочинении написал какую-то ерунду...

Бураков слегка замялся.

— Понимаете, после школы он решил прекратить пижонить и взяться за ум. Но, видимо, еще не сумел вытравить в себе стремление пооригинальничать. Ну и вот... сам себе напортил. Там, в сочинении, еще и какие-то ошибки были,— короче, заработал двойку. Над ним еще посмеялись, мол, все перевернуть собирается, а элементарной грамотности нет...

Он вытащил сигареты, механически закурил и тут же страшно смутился.

— Ох, простите! Задумался...

И постарался рукой рассеять дым.

— Ну почему, почему он оказался таким слабым?!

Бураков твердо решил привести его ко мне, и я не сомневалась, что он это сделает. У него была воля. Он верил, что все вместе мы поможем Джигитову: «Посмотрите, он будет настоящим человеком. Вот увидите. Еще не поздно. Я в него верю...»



Евгений
РОМАНЦЕВ,
доктор биологических наук

РОЖДЕННАЯ АТОМОМ

Иногда я достаю с полки эту книгу в коричневом, старомодно оформленном переплете. Страницы уже начали желтеть по краям — ничего не поделаешь: время. Даже сейчас, когда авторство мне уже давно не в диковину, приятно видеть свою — в числе других — фамилию на титульном листе. Книга дорога мне как память не только о собственной молодости, но и о молодости науки, в которой я работаю. Это первый в Советском Союзе коллективный труд по радиационной биохимии «Обмен веществ при лучевой болезни». Монография, созданная под руководством ныне действительного члена Академии медицинских наук Ильи Ильича Иванова, обобщала, анализировала и зафиксировала в научной литературе уже накопленный советскими учеными опыт и достижения радиационной биохимии.

Радиационная биохимия как направление современного естествознания — дитя атомного века, и своим возникновением она обязана развитию ядерной физики.

Первая лаборатория радиационной биохимии была создана в СССР вскоре после окончания Великой Отечественной войны. Институт, в который она входила, возглавил видный ученый академик Глеб Михайлович Франк. Символично, что для нашего директора близость к новейшей физике была родственной в полном смысле этого слова: его родной брат — видный советский физик, Нобелевский лауреат и тоже академик Илья Михайлович Франк.

Глеб Михайлович не только выдающийся биофизик, но и талантливый организатор науки, обаятельный и остроумный человек. В предельно короткий срок он сплотил вокруг себя коллектив молодых и способных исследователей.

Прекрасно помню то ясное осеннее утро, когда я, выпускник кафедры биохимии биолого-почвенного факультета Московского университета, вошел, робея, в старое, массивной кирпичной кладки здание. Мне предстояла встреча с известным ученым, под чьим руководством я должен был работать. Естественно, я волновался.

Долго ждать не пришлось. Ко мне стремительно вышел улыбающийся, очень живой человек.

— Здравствуйте,— сказал он и первым протянул руку.— Рассказывайте о себе, о своих планах. Мы с вами начинаем работать в совершенно новой области естествознания.

Да, действительно, это была совершенно новая область науки. Радиационная биохимия рождалась хотя и на основе нормальной биохимии, но на стыке с физикой, химией, математикой. Ее появление было целиком продиктовано запросами практики начавшегося атомного века.

Новая лаборатория фактически состояла из молодежи — недавних выпускников Московского университета и медицинских институтов. Но много лет ею плодотворно руководил известный советский биохимик, уже упомянутый мною профессор И. И. Иванов.

Сегодня лаборатории, в которых исследуют различные аспекты радиационной биохимии, существуют во всех развитых странах. Иначе и быть не может в эпоху, когда стало объективной реальностью широкое и всестороннее использование атомной энергии.

Над какими же проблемами работает эта новая наука, какие вопросы ее волнуют?

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ

В течение ряда лет мне посчастливилось работать рядом с известным физиологом академиком Андреем Владимировичем Лебединским. Редкостный эрудит, блестящий оратор и педагог, он пользовался большим расположением молодых ученых. Мы его любили за объективность суждений и оценок, за доброту, искренний интерес к нашим исследованиям и, конечно, за яркий, самобытный ум.

Всех молодых специалистов в институте он знал в лицо. И не только знал, но хорошо помнил, кто чем занимается. Андрей Владимирович мог остановить когонибудь из молодых прямо в коридоре и спросить:

— Ну, рассказывайте, что у вас новенького? Какие новые идеи?

Аспирант, у которого ничего «новенького» не было, спешил, издали завидев высокую фигуру академика, укрыться за первой же дверью. Однажды, направляясь в институтскую библиотеку, я вот так столкнулся с Андреем Владимировичем.

— А, молодой человек, здравствуйте! Что-то я давненько вас не видел. Ну, рассказывайте, что у вас новенького,— сказал он и крепко взял меня под локоть.

Ничего особенно «новенького» у меня в этот момент не имелось, но и ретироваться было поздно. Тогда я стал честно рассказывать,

Рисунки
К. БОРИСОВА





М. ПРОВОРОВ

обратный путь потерян



Фото Л. БОГДАНОВА.

Альберт Асадуллин в роли Орфея.

В середине лета прошлого года в Ленинграде вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары» впервые давал оперу «Орфей и Эвридика».

Этим фактом обескуражены были все. Поклонники «Поющих гитар», обычно скандирующие аплодисменты после каждой песенки на каждом концерте, этих песенок в опере не нашли, да и аплодировать не очень-то давали — действие не прерывалось; любители же оперного жанра были оглушены мощным звуком, шокированы свободной театральной формой, удивлены актерскими и пластическими способностями певцов... Может быть, в соприкосновении этих двух аудиторий и есть основной смысл зонг-оперы, как определили жанр своего произведения авторы «Орфея и Эвридики»: композитор Александр Журбин, драматург Юрий Димитрин, а также режиссер-постановщик оперы Марк Розовский.

— Конечно, часть нашей постоянной публики мы можем потерять, — сказал мне перед премьерой художественный руководитель «Поющих гитар» Анатолий Васильев,— но только настоящий зритель-слушатель готов принять наш следующий шаг в сторону усложненной музыкальной формы, интеллектуальной драматургии, яркого театрального действа.

Волнения по этому поводу оказались напрасными — на всех четырех премьерах в зале не пустовало ни одно место, а после спектаклей аплодисментам не было конца.

Об «Орфее и Эвридике» много спорят. Спорят зрители, спорят музыканты... Всякое новое явление несет в себе много неожиданного и, естественно, не всеми сразу принимается. В спорах рождается истина, и первый опыт «Поющих гитар» позволит другим ансамблям закрепить их находки, учесть просчеты и развивать дальше интересный музыкально-драматический жанр — зонг-оперу.

Почти двадцать лет назад появился новый музыкальный стиль, который тогда получил название «биг-бит». Новый стиль креп, развивался, без стеснения впитывал в себя разные музыкальные традиции, охотно скрещивался с народной музыкой, приобретая на каждой национальной почве новые краски, — и в конце концов дал то, что мы теперь называем музыкой в стиле рок (не надо путать с рок-н-роллом, который является лишь одним из ранних видов этой музыки). Первым поклонникам рока уже где-то под сорок, но феномен этой музыки в том, что она властвует и над следующим поколением. То, что лет пятнадцать назад казалось нам озорством, а кое-кому и шарлатанством, стало сейчас достаточно устойчивой музыкальной традицией. Не должно удивлять, что новые, рождавшиеся на наших глазах явления в музыке не были закреплены сразу в единых и точных теоретических определениях. У нас музыкальные составы, исполняющие музыку в стиле рок, получили название вокально-инструментальных ансамблей.

В 1966 году родился один из первых в нашей стране профессиональных ансамблей — «Поющие гита-



Сцена из оперы.

ры» под руководством Анатолия Васильева. Прошло несколько лет, и вокально-инструментальные ансамбли стали плодиться, как грибы. Естественно, что при такой массовости жанра в потоке электрогитарных песенок появилось немало похожих друг на друга легковесных шлягеров с примитивными словами, в то время как музыка в стиле рок по своей природе полна драматизма, способна глубоко воздействовать на уровне высокого искусства. Эту музыку хочется слушать и слушать, постепенно втягиваясь в ритм, впуская его внутрь себя, покоряясь ему, живя в нем. Музыка становилась состоянием, и в это состояние хотелось погружаться глубже и глубже... Песни, исполняемые под аккомпанемент электрогитар, удлинялись, превращались в баллады, в рассказы, в маленькие пьесы и, наконец, сплавились в новый жанр — рок-оперу. Появлению рок-оперы способствовало и то, что электрогитарная музыка очень живописна, фактурна, театральна, недаром многие режиссеры уже стали использовать ее для оформления своих драматических спектаклей. Теперь эта музыка сама стала театром. Появились первые оперы в стиле рок, музыка которых была записана на пластинки и разошлась по всему миру... И вот — первая такая советская опера «Орфей и Эвридика».

Орфей полюбил Эвридику —
Какая старая история...

Этой музыкальной фразой начинают оперу поющие гитаристы, и весь спектакль они вместе со своей мигающей красными и зелеными лампочками аппаратурой остаются на сцене, образуя как бы фон действия, на котором разворачивается драма Орфея и Эвридики.

Эвридика подарила Орфею песню, с которой он выступил на состязании певцов и победил. Сразу же интимная песня Эвридики была спета сотнями певцов, растиражирована в миллионах экземпляров, и в этих искаженных копиях потерялась личность Орфея, а блеск золотого эстрадного пиджака, напяленного на победителя, истошные вопли поклонников затмили, заглушили для Орфея все остальное.

Орфей потерял Эвридику —
Какая старая история...

И вечно новая.

— Миф об Орфее начинается с того, чем завершаются события нашей оперы, — гибелью Эвридики,— говорит автор либретто Юрий Димитрин.— Разумеется, и в либретто и в музыке оперы мы старались бережно сохранить высокую героику, гуманизм бессмертной античной легенды. Но, приближая время действия оперы к нашим дням, мы решили предложить зрителям-слушателям иной сюжет. В каком-то смысле наша сюжетная канва является предысторией античного мифа.

Признаки мифа, детали древней жизни смешаны в спектакле с деталями жизни современной. Внешне спектакль пестр. Но и наша жизнь в последнее время стала гораздо ярче, и толпа на улице выглядит сейчас намного колоритнее, чем несколько лет назад. Пестрота в одежде сегодня — не только мода. В этом выражается сильная тяга молодежи к карнавализации самой жизни, некий вызов скучным серым краскам стандарта, которые порой проникают в нашу жизнь.

В «Орфее и Эвридике» на сцене сталкиваются самые разные, несовместимые, казалось бы, предметы, но это не эклектика. Можно сказать, эти случайные столкновения не случайны. Рядом с изысканной декоративностью и мифологической торжественностью возникают приметы современного быта. Так, вместо щитов в спектакле используются купленные в «Детском мире» диски для катания с гор. На сцену герои с одной стороны выходят из вычурных золотых ворот, а с другой — из большого кофра, в котором обычно хранятся театральные костюмы и реквизит. Оркестр восседает посередине сцены на грубо сколоченных деревянных ящиках. Все это, вместе взятое, определяет эстетику спектакля, созданную режиссером Марком Розовским и художником Аллой Коженковой.

— Современный стиль жизни молодежи 60—70-х годов породил и современную музыкально-театральную форму, — говорит режиссер-постановщик «Орфея и Эвридики» Марк Розовский. — Традиционная форма оперы трансформируется в нашем спектакле в энергичное карнавальное зрелище. Причем карнавал вовсе не обязательно обозначает веселье. Иронико-комедийное и трагическое всегда сосуществуют в кар-



Слева — Альберт Асадуллин в роли Орфея, справа — Богдан Вивчаровский в роли Харона.

навале, постоянно и незаметно перетекают друг в друга. Мне хотелось соединить в спектакле брызжущую праздничность с внутренней сосредоточенностью героев, с их сокровенностью и осознанием трагичности своих судеб. Сочетание самых противоречивых чувств вообще характерно для молодого человека. Мне интересно было работать с двадцатилетними. «Поющие гитары» не были искушены театром, и приятно было наблюдать, как вдруг на репетициях они «заиграли», проявив актерское озорство, импровизационность в сочетании с самым доподлинным психологизмом.

Исполнитель роли Харона Богдан Вивчаровский сказал мне:

— Обычно, когда мы готовили свои концертные программы, нам говорили: «Ты встань туда, а ты — сюда...» — вот и вся режиссура.

Порой на эстраде работа режиссера сводится к компоновке концерта и элементарной разводке исполнителей. Но постановка оперы «Орфей и Эвридика» показывает, как добротный литературный и музыкальный материал, сочетаясь с истинно театральной режиссурой, может поднять эстрадное зрелище до уровня высокого искусства.

Хочется описать одну мизансцену, которая благодаря острой режиссерской мысли стала символом всего спектакля. После победы на конкурсе песни Орфей закружен хороводом поклонников, подавлен расхожестью собственной песни, зажат в тиски своей же популярности. Орфей, опустошенный и растерянный, стоит посередине сцены, а Певчий бог, столь покорный ему совсем недавно, медленно нагружает на хрупкие плечи Орфея тяжелые микрофонные стойки — одну, другую, вешает по бокам еще две, несколько стоек ставит перед ним так, что микрофоны, словно стрелы, упираются прямо в грудь Орфея. И вот певец как бы распят на кресте массовой культуры, на кресте всеобщего поклонения, связан этим поклонением по рукам и ногам. «Орфей, обратный путь потерян», — предупреждает мудрый Харон. Так и случилось. И только в финале смерть верной Эвридики возвращает Орфея к самому себе.

Композитор Александр Журбин:

— В зонг-опере страсти должны быть накалены до предела, герои должны находиться в крайних, пограничных между жизнью и смертью ситуациях, тогда экстаз музыки, который в сочетании с проникновенной лирикой характерен для этого жанра, оправдан. За сочинение зонг-оперы «Орфей и Эвридика» я взялся потому, что люблю искать себя в предельных «регистрах». Сейчас пишется много так называемой средней музыки, классические традиции в меру современны, а современные ритмы достаточно приглушены. Я предпочитаю разводить полюса. Некоторые считают, что рок-музыка — музыка низшего порядка, и серьезный композитор не должен ею заниматься. Я считаю, что это просто от неосведомленности. Работая над «Орфеем и Эвридикой», я испытал одно из самых счастливых композиторских состояний. Мне двадцать девять лет, и я хорошо представлял современную молодежную аудиторию, для которой писал.

Однако не всем любителям электрогитарной музыки авторы оперы угодили. В антракте я сам слышал, как один завсегдатай биг-битовых концертов сказал другому:

— Дожили... «Поющие гитары» учить жить начали!

А как приняли оперу профессионалы? Вот что сказал на обсуждении спектакля заслуженный деятель искусств РСФСР, председатель Ленинградского отделения Союза композиторов СССР Андрей Петров:

— «Орфей и Эвридика» — победа прежде всего молодого композитора Александра Журбина. Оригинальная драматургия, блестящая режиссура и мастерское вокальное и актерское исполнение «Поющих гитар» сплавились в яркий спектакль. Это новый шаг в эстрадном жанре. Учитывая огромный интерес молодежи к этому виду искусства, считаю, что новое дело надо поддержать и, может быть, «Поющие гитары» закрепить как новый молодежный театр.

Когда во время ленинградских премьер я бродил в кулисах оперной студии, на меня пахнуло знакомой и волнующей атмосферой студенческого театра. Общий успех внушил им веру, что вместе они и не такие дела потянут... Альберт Асадуллин (Орфей), Ирина Понаровская (Эвридика), Ольга Левицкая (Фортуна), Богдан Вивчаровский (Харон) — все «Поющие гитары» как бы приподнялись над своим эстрадным прошлым, над своим многолетним шлягерным репертуаром, над самими собой вчерашними. И силой, которая приподняла их, был **театр**.

— Теперь даже на концертах ребята будут выходить на сцену совсем другими, — сказал после премьеры Анатолий Васильев.

Обратный путь потерян!



Андрей
МОЛЧАНОВ

ЗАДАЧИ ВЫСШЕЙ СЛОЖНОСТИ

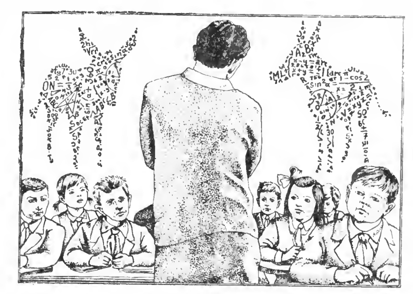


Рисунок В. БАТАЛИНА.

Федя Богомолов, студент третьего курса мехмата, прогуливая лекцию, решил зайти к своей тете, работавшей завучем в средней школе.

Встреча родственников носила прохладный характер. Тетя была чем-то явно удручена, и Федя понял, что зашел не вовремя.

— Я того... пойду...— сказал он, взглянув в ее озабоченное лицо.

— Иди. Заходи, не забывай,— равнодушно откликнулась тетя, но вдруг лицо ее прояснилось.— Феденька! — воскликнула она.— И как это я забыла! Ты же математик! Понимаешь, у нас заболели два преподавателя математики. Справляться-то мы справляемся, но сейчас в третьем «В» урок должна проводить я, а тут звонок из роно. Вызывают на совещание. Выручи, проведи урок, а?

— Я? Урок?.. Н... нет...

— Феденька, милый, умоляю! Ну хотя бы займи их чем-нибудь. Ты ж на третьем курсе, а они в третьем классе. Порешайте задачи. Ребятам будет интересно.

— Ну, ладно,— вздохнул Федя,— попробуем... В конце концов третий класс не десятый. Справлюсь.

Федя поднялся на второй этаж и робко вошел в третий «В».

— Здрасьте, товарищи! — сказал он.— Сегодня я проведу у вас урок математики.

— Здраст!!! — хлопнув артиллерией парт, нестройно ответил класс.

Федя задумчиво оглядел доску с нарисованной на ней рожей пирата и, мучительно вспоминая, чему его учили в третьем классе, спросил:

— Вы таблицу умножения знаете? Знаете... Отлично! Тогда приступим, товарищи! Даю вам простую задачу. Есть десять галош. Пришли трое мальчиков, надели галоши и ушли. Затем пришли две девочки и надели оставшиеся галоши. Сколько галош взяли мальчики и сколько девочки?

Класс схватился за головы. Заскрипели перья авторучек.

— Ну-с,— сказал Федя через десять минут,— решили? Вот вы, товарищ с синяком, получили ответ?

Товарищ с синяком, двоечник Бутурлакин, солидно одернул пиджак и сказал:

— Задача, выдвинутая вами, нетривиальна. Уравнение, описывающее ее условие, неопределенное... Три икс плюс два игрек равно десяти...

— Чего? — изумился Федя.— Какие икс, какие игрек?

— Три икс — есть произведение трех мальчиков на число галош, взятых мальчиками, а два игрек — произведение двух девочек на число галош, взятых девочками,— уверенно ответил Бутурлакин.— Икс равен четырем, игрек — минус единице!

— Простите...— молвил Федя придушенным голосом.— Что же получается? Мальчики надели по четыре галоши, а девочки по минус одной!? Да вы что, товарищ?..

— Условие задачи — софистика! — сказали с задней парты компетентным дискантом.— Уравнение имеет бесконечное множество корней!

Класс загалдел.

— Товарищи! — сказал Федя, изнеможенно садясь мимо стула.— Спо...койно!

Он встал и подошел к доске.

— Уравнение тут вообще ни к чему. Смотрите... Вот десять галош. Три мальчика. Две девочки. А сколько галош надо одному человеку? Ну? — Он кивнул девочке, сидевшей на первой парте.

— Ни одной...— сказала она упавшим голосом.— Сейчас галоши не носят...

— А вы предположите, что их носят! — затравленно закричал Федя, машинально вытирая губкой пот со лба.— Сколько человеку надо?..

— Две...— всхлипнула девчушка,— галоши...

— Наконец-то! Так сколько галош наденут три мальчика?

— Шесть...— изумленно прошептал Бутурлакин.

— А девочки?

— Четыре! — хором ответил класс, восхищенный элегантностью решения.

Класс, пораженный открывшимися перед ним безднами науки, молчал.

— Ну, вот и все...— устало сказал Федя.—Другая задача...—продолжал он.—Предположим, у нас есть тридцать килограммов воблы, товарищи! И три осла. На каждого из них надо нагрузить воблу поровну...

— А что такое ослы? — спросил кто-то.

КАКОВ ВОПРОС — ТАКОВ ОТВЕТ

Николай Ж—е с, г. Минск

Дорогая Галка Галкина!

Сейчас по телевизору по учебной программе показывают кое-какие уроки. Нельзя ли это дело расширить и вместо того, чтобы хо-